



А. Л. Зиссерман
Двадцать
пять лет
на Кавказе

Арнольд Зиссерман
**Двадцать пять лет на
Кавказе (1842–1867)**

Издательство «Кучково поле»

1879

УДК 355.4
ББК 63.3

Зиссерман А. Л.

Двадцать пять лет на Кавказе (1842–1867) / А. Л. Зиссерман —
Издательство «Кучково поле», 1879

ISBN 978-5-9950-0373-1

Писатель Арнольд Львович Зиссерман (1824–1897) по праву снискал славу бытописателя Кавказа: состоя на гражданской службе, он участвовал во многих военных экспедициях, исполняя в том числе и миссионерские поручения. В 1850-х годах, не прекращая корреспонденций с театра военных действий, он печатает в «Современнике», «Русском вестнике», «Московских ведомостях» и «Русском архиве» статьи военно-исторического характера и воспоминания, которые дополняются заметками в «Русской старине». Труд «Двадцать пять лет на Кавказе. 1842–1867», вышедший впервые в свет в 1879 г., представляет собой яркий образец мемуарной литературы. Воспоминания автора о четвертьвековой службе, отличаясь информационной насыщенностью, не только освещают ход российского освоения Северного Кавказа, но и повествуют о том, как параллельно осуществлялось познание нового края. Автор дает глубокое представление о жизни, нравах, обычаях и отношениях народов, населяющих этот регион, рисует перед читателем грозно-неприступную, но в то же время манящую красоту природы Кавказа, раскрывает характер взаимоотношений российских властей с местным населением, причины и следствия успехов и неудач российского присутствия в этом регионе, а также описывает все тяготы, которые пришлось вынести русским солдатам и офицерам.

УДК 355.4
ББК 63.3

ISBN 978-5-9950-0373-1

© Зиссерман А. Л., 1879

© Издательство «Кучково поле», 1879

Содержание

Часть первая	6
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Арнольд Львович Зиссерман Двадцать пять лет на Кавказе (1842–1867)

Часть первая 1842–1851

В течение 1876–1878 годов в «Русском вестнике» печатались отрывки из моих воспоминаний о долголетней службе на Кавказе.

Для многих чтение журналов или совершенно недоступно, или сопряжено с различными затруднениями, лишаящими читателя возможности сохранить в памяти связанное представление о прочитанном, особенно если нечтение продолжалось долго и с перерывами. Это побудило меня издать «воспоминания» с некоторыми исправлениями и дополнениями – отдельной книгой, разделив ее для удобства на две части.

Не придаю своему труду никакого исторического, а тем более литературного значения, но полагаю, что всем, служившим на Кавказе в продолжение долгой эпохи войны нашей с тамошними горами, небезынтересно пробежать несколько страниц, могущих напомнить им давно минувшее время и некоторых лиц, с которыми всякому из них, без сомнения, приходилось более или менее сталкиваться.

Кавказ прежних времен имел свойство так привлекать к себе всех, проведенных в нем несколько лет, что привязанность к нему не исчезала и после долгого времени, проведенного в других местах. Таким старым кавказцам дороги всякие о нем воспоминания, и их-то (а число их, рассеянных по всем уголкам нашего обширного отечества, очень значительно) имел я главнейше в виду, составляя мой посильный труд.

I.

Мне было 17 лет, когда, живя в одном из губернских городов, я в первый раз прочитал некоторые сочинения Марлинского. Не стану распространяться об энтузиазме, с каким я восхищался «Амалат-беком», «Мулла-нуром» и другими очерками Кавказа; довольно сказать, что чтение это родило во мне мысль бросить все и лететь на Кавказ, в эту обетованную землю с ее грозной природой, воинственными обитателями, чудными женщинами, поэтическим небом, высокими, вечно покрытыми снегом горами и прочими прелестями, неминуемо воспламеняющими воображение семнадцатилетней головы, да еще у мальчика, с детства уже обнаруживавшего чрезвычайную склонность к ощущениям более сильным, чем обыкновенные школьные забавы. Оставалось придумать средства привести план в исполнение, и я строил ежедневно кучу предположений, оказывавшихся на другой день никуда не годными. Вдруг, совершенно неожиданно, представился, по-видимому, удобный случай. Один знакомый мне канцелярский чиновник, с которым я заговорил о Кавказе, вспомнил, что недавно читал какое-то новое положение об этом крае, о льготах, предоставляемых служащим в нем, и прочем, и что самое лучшее было бы проситься туда на службу. Мысль мне понравилась, и, не откладывая дела в долгий ящик, как и подобает юношам, мы предварительно достали огромную канцелярскую книжицу сенатских указов, прочитали составленное сенатором бароном Ганом «Положение об управлении Закавказским краем 1840 года», то есть читали не все Положение,

а главы о преимуществах вызываемых туда на службу, и в начале декабря 1841 года отправили просьбы к тифлисскому губернатору о принятии нас на службу в его ведомство.

Признаться, мы имели весьма мало надежды на успех, и когда наступил уже май 1842 года, а известий из Тифлиса никаких не было, мы, что называется, махнули рукой и стали подумывать, не попытаться ли поступить на службу в Восточную Сибирь, лишь бы куда-нибудь подальше пропутешествовать и удовлетворить страсти к передвижениям и сильным ощущениям. Между тем около половины мая в губернском правлении получили бумагу из Тифлиса, что просьбы наши приняты, что нас вызывают на основании такого-то параграфа Положения, для чего снабдить подорожными, прогонами и прочим. С восторгом выслушав это известие, мы после коротких сборов без малейших опасений за будущее 30 мая 1842 года уселись на перекладную и пустились в далекий неведомый путь.

Скучна и утомительна была однообразная дорога по степям Херсонской, Екатеринославской и других южных губерний. Невыносимый жар, недостаток воды, полуразвалившиеся хаты вместо почтовых станций, скверные клячи, едва везущие тряскую телегу, стада сусликов (овражков) да миражи, дразнящие на каждом шагу надежды на тень и воду. Вдобавок мы ехали без всякого маршрута и по произволу станционных смотрителей попали на какой-то кружный путь через Орехов, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и Таганрог, по самым пустынным степям, палимым июньским солнцем. Наконец, набравшись горя на славившихся своими беспорядками станциях в Войске Донском, мы дотащились до Ставрополя, который хотя и считался уже Кавказом, но ничем не отличался от любого губернского города средней руки. Два условия только придавали ему особенный характер: костюмы линейных казаков и изредка попадавшихся туземцев, особенно верхами, в полном вооружении, и еще более великолепный вид на Кавказский хребет, который, невзирая на почти четырехсотверстное отдаление, в светлое утро весь, как выточенный рельеф гигантских размеров, величественно поднимался между мглой долин и синевой неба. До Георгиевска опять степная, изрезанная глубокими балками дорога. Вдруг вправо показывается Эльборус, как будто окруженный четырьмя огромными, отдельно стоящими холмами, и все это, кажется, рукой подать, между тем до этих холмов, у подножия которых Пятигорск и минеральные воды, 40 верст. Далее до Екатеринограда и оттуда до Владикавказа на дороге стояли пикеты казаков на вышках, ездили с конвоем, попадались двухколесные скрипучие арбы с вооруженными туземцами погонщиками, да на каждой станции угощали рассказами о тревогах, нападениях и вообще происшествиях, в которых только и слышались слова: немирные, мошенники-мирные, убили, зарезали, схватили, угнали... Все это очень резко бросалось в глаза едущим из тех городков, где тишина нарушалась разве пьяным криком «караул!»...

Во Владикавказе туземный элемент уже видимо преобладал на улицах, и я останавливался на каждом шагу любоваться этими молодецкими фигурами в живописных костюмах, ловко сидящими в седле. Здесь же в первый раз увидел я туземных женщин, пришедших на базар продавать кур, масло и прочее. Все они были в каких-то лохмотьях зеленого или синего цветов, наружность весьма непривлекательная, грязь непомерная. Где же «девы гор»?..

Владикавказ, преддверие настоящего Кавказа, – очень оживленное место; миновать его нельзя, он связывает Россию и Грузию; окрестности его очень живописны, в самом городе с шумом быстро несется мутный Терек. По истечении суток мы убедились в напрасном ожидании почтовых лошадей, которые, по словам смотрителя, в разгоне. Случившийся в казенной гостинице офицер-старожил дал нам добрый совет: не теряя напрасно времени, нанять лошадей у осетин и ехать верхом до станции Коби, лежащей у подножия перевала через хребет.

Заплатив чуть ли не тройные прогоны за две клячонки, на которых вместо седел были какие-то обрывки войлоков (вещи навьючили на третью), мы пустились в путь с двумя оборванными проводниками. Они всю дорогу без умолку так громко говорили между собой, так сильно жестикулировали, что мы все ожидали драки; не понимая ни слова, с воображением, настро-

енным преувеличенными толками об опасностях, под впечатлением дикой угрюмой местности мы уже стали опасаться, что нас заведут в тущобу и зарежут огромными, болтавшимися на поясах кинжалами... Однако нечего было делать, подвигались все дальше, проехали Балту – небольшое поселение военно-рабочих на дороге и стали углубляться в ущелье; у станции Ларс делали привал да среди русского населения отдохнули от страха, испытанного в течение нескольких часов, и уверились, что проводники курицы не обидят, что «кричат они всегда – такой уж у них, барин, нрав азиатский», как выразился солдатик – сторож почтовой станции.

Опять вскарабкались на тощих буцефалов и тронулись мерным шагом дальше к знаменитому Дарьялу, где река Терек, громадность упирающихся в него отвесных скал, огромные, грозящие падением на голову камни, вся эта величаво-дикая природа производит, особенно на едущих в первый раз, впечатление, трудно передаваемое на бумаге. Все поэтические описания, посвященные этим местам, все-таки слабы перед действительностью. Понятно, что я был восхищен и с каким-то трепетом сердечным то поднимал голову вверх, чтобы смотреть на скалы, на торчащие из расщелин сосны, на сочащиеся источники, то опускал их вниз, чтобы смотреть на пенящуюся реку, с каким-то бешенством стремящуюся миновать все препятствия, образовавшиеся на ее пути в виде обломков скал и гранитных теснин; я вслушивался в этот особенный шум, будто не совсем однообразный, будто силившийся что-то выразить.

Ущелье все сужалось, не допуская солнечных лучей, оно принимало все более мрачный вид; люди и лошади, даже кое-какие постройки по дороге – все это казалось чем-то таким мелким, невзрачным против этой величественной обстановки... Дорога, беспрестанно поднимающаяся и спускающаяся по крутым береговым откосам, вся усеяна камнями, и нужно было удивляться, как выносили во время оно русские кости скачку в телегах по этому пути. В ауле Казбек, лежащем недалеко от подножия горы этого имени, проводники пригласили нас к себе. В первый раз был я в доме туземца, но, невзирая на любопытство, долго не мог оставаться: едкий дым соснового дерева, вонь от навоза, невыделанных овчин и скверного табаку, полунагие грязные дети, оборванные женщины, овцы, телята – все это вместе у одного разведенного посреди сакли огня, над которым на железной цепи висит черный котел с какой-то похлебкой, а в золе пекутся лепешки, вот что составляло вид этого жилища. Привыкши к деревенской обстановке в Малороссии, где у беднейшего крестьянина в хате все опрятно, я просто глазам своим не верил. Какая же тут, думал я, возможна поэзия, где же девы гор, где же эти эдемы Марлинского? Верно, дальше – ведь край большой... ну, скорее вперед.

К позднему вечеру достигли Коби. Картина изменилась: ущелье шире, Терек не шумит, а едва заметно пробирается по долинке, горы кругом уже не отвесными скалами, а более покатыми грядами обступают долину, нигде ни деревца, ни цветка. Хотя это было в последних числах июня, но ночь была холодная, мартовская: комната на почтовой станции – совершенный ледник; сторож из военно-рабочих, солдат-еврей, весьма любезно предложил затопить, «если господа желают». Что за вопрос, кто же не пожелает? «Пожалуйста, поскорее, да хорошенько, мы вам уж на чаек за это». – «Рады стараться, ваше высокоблагородие», – совершенно уже по-солдатски выкрикнул лукавый солдатик-еврей и исчез. Через десять минут он явился с небольшой вязанкой дров, затопил печь и скрылся опять. Тепла от этой топки не произошло: печь огромная, комната тоже большая, остуженная – нужно бы много дров, чтобы ее согреть, но мы уже напились чаю, не решались во зло употреблять любезность сторожа и собирались улечься на твердых дощатых диванах, накрывшись всем удобным для этого, как дверь отворилась, и он появился с той же услужливо-улыбающейся физиономией. «Так как я, ваше высокоблагородие, должен до рассвета отправляться по службе на Казбекскую станцию, то позвольте получить теперь расчет». – «Очень хорошо. Сколько следует за самовар? (больше мы ничего не брали)». – «За самовар 30 копеек, да 15 фунтов дров по пяти копеек за фунт – 75, да мне за работу, если больше не пожалуете, то по положению десять копеек». Вот чем окончилась услужливость сторожа. Не говоря уже, что при наших средствах издержка была очень чувстви-

тельная, мы были возмущены положением, чтобы проезжающие, да еще на службу, сами отапливали станцию, наконец, этой формой эксплуатации не ведающих правил и цен. Дрова на фунты! Этого мы никак не могли сообразить. Впрочем, здесь, кстати заметить, после, в течение двадцати пяти лет, я достаточно убедился, что такого самоуправления, такого бесконтрольного, просто нахального попиранья всяких правил, как в управлении почтовой гонкой, едва ли еще где-нибудь можно было встретить. Мне придется еще подробнее рассказывать об этом предмете и во времена более нам близкие.

На другое утро туман покрывал все вокруг, и сырость в виде инея садилась на платье. Я никак не мог составить себе ясного понятия, как совершается предстоящий нам перевал через горы, как долго он совершается и в чем заключается опасность, ради которой все проезжающие как-то стереотипно повторяют: «Вот лишь бы через горы благополучно перебраться». Наконец, звеня двумя колоколами под дугой и десятками бубенцов, подкатила к крыльцу ухорская тройка, мы уселись и версты две по ровной почти дороге пронеслись, как только можно пронести на Руси, когда ямщик – лихой парень, а тройка – сытая, незагнанная. Начался подъем; я весь обратился во внимание, думая, какие препятствия должны встречаться на переезде через горы, вечно покрытые снегами, видимые за 400 верст... Однако то шагом, то кое-где рысцой, то по обрывистому берегу какого-то бурливого потока, то по долине, встречая и тройки, и верблюжьи караваны, и верховых, мы через два с половиной часа были уже на станции Кайшаур, на южном склоне хребта, не вылезая за всю дорогу из телеги... Подъем в некоторых местах был крут, по Гут-горе дорога шла над обрывом, казавшимся неизмеримой бездной, в которой виднелись аулы и постройки весьма миниатюрных размеров; вид был вообще дико-унылый, в некоторых местах лежали грязные снежные глыбы, остатки обвалов, но ничего ни особенно поражающего, ни опасного я не заметил. Впоследствии, проехав по этому пути не один десяток раз и в разные времена года, я уяснил себе, почему действительность так не соответствовала тогдашнему воображению, и убедился, что об опасностях недаром толковали, и вообще почему переезд через горы считали чуть ли не подвигом.

Высшая точка перевала – около 7600 футов, из которых до половины, если не более, уже пройдено от Владикавказа до Коби постепенным, не совсем заметным подъемом; следовательно, вторую половину по разработанной дороге немудрено было без больших затруднений в два часа проехать, а что виднеется за 400 верст в виде сплошной цепи гор, покрытых снегом, – это только вершины отдельно поднимающихся гор, высшие точки хребта, удерживающие снег всегда и на далеком расстоянии кажущиеся сплошным протяжением; переезды же, само собой, выбираются на более низких уступах. Опасность, смотря по времени года, заключалась в снеговых или земляных завалах, обрушивающихся на дорогу непредвиденно, с ужасной быстротой и силой, да в бешеных потоках, да в возможности полететь с обрыва, если бы лошади, испугавшись, бросились в сторону или не удержались на спуске и т. д., но чуть не главную опасность видели в возможности остаться в каком-нибудь Кайшауре или Коби на пять-шесть дней, когда всякое сообщение прекращалось вследствие завалов, или сноса бешеным водопадом моста, или разливом Терека по дороге. Мы проезжали в хорошее время и при особенно счастливых условиях: дорога готовилась для проезда военного министра графа Чернышева, и станционные диктаторы не только не задерживали проезжающих, но даже с любезностью старались скорее выпроваживать гостей.

Спуск от Кайшаура к Квишету, резиденции окружного начальника, управляющего племенами, по дороге живущими, был хорошо разработан; словом, мы без всяких затруднений подвигались очень скоро и достигли станции Пасанаур на берегу быстрой Арагвы в живописном ущелье: крутые покатоги гор покрыты лесом, каменные башнеобразные жилища горцев разбросаны по склонам гор, клочки пашен по крутизнам, множество потоков, низвергающихся белыми пенистыми полосками, непрерывный шум воды, подчас треск, будто падение большого срубленного дерева, едва заметные стада овец, пасущихся над обрывами, переезжающие

через быструю реку верхами туземцы – все это, слитое в одну картину, в одно впечатление чрезвычайно своеобразного, никогда не виденного.

Далее Ананур, Душет, небольшие грузинские городки, в которых резко выразился уже характер плодородной Грузии с ее беспечно веселым населением, живущим под теплым небом; здесь уже встречались тяжелые, неуклюжие двухколесные арбы, запряженные парой буйволов, еле-еле переставляющих ноги; загорелый, в расстегнутой красной рубашке, с черными кудрявыми волосами погонщик, распеваящей во всю здоровую глотку какую-то неуловимую мелодию, прерываемую гиком на животных и хлопаньем кнута; женщины, укутанные в белые *чадры* (покрывала), в *кошах* (туфли на высоких каблуках), поглядывающие исподлобья. Далее виноградные сады, фиговые, персиковые деревья; становится невыносимо жарко, солнце палит, воздух как-то особенно сух, земля тверда как камень, тряска и пыль невыносимы. Миновали Мцхет, древнюю столицу грузинских царей, переехали по прекрасному мосту реку Куру у слияния ее с Арагвой; *духаны* (кабаки) стали умножаться, транспорты арб с дровами, ослов, навьюченных корзинами с зеленью, с угольями, все более и более стесняют дорогу; все чаще попадаются верховые женщины, сидя по-мужски, под большими зонтиками, иногда сзади мужчина на той же лошади, иногда напротив мужчина в седле, а женщина сзади, свесив ноги в разноцветных шерстяных носках, в руках держит свои коши... Все картинки, врезающиеся в память своей оригинальностью и возбуждающие усиленное внимание человека, не покидавшего до этого времени своего степного уезда.

Движение стало заметно увеличиваться – чувствуется близость большого города, цели долгого путешествия. Мы поднялись на небольшой холм, и глазам нашим вдруг открылась огромная котловина со множеством сидящих друг на друге строений, с быстрой рекой, разрезающей эту картину; вдали, на высоком левом берегу, большие белые здания, очевидно казенные, далее неизмеримая равнина, сливающаяся на горизонте с полосой высокого хребта гор. Еще спуск мимо памятника, где император Николай в 1837 году упал из опрокинутого испугавшимися лошадьми экипажа, переезд через речку Веру, опять подъем и – «пожалуйста подорожную», забасил унтер в фуражке с белым чехлом, выйдя из караульного дома, а ямщик в это время подвязывал колокольчик. Итак, я очутился в Тифлисе.

Представить очерк этого города, по которому можно бы себе составить о нем приблизительное понятие, довольно трудно (не нужно забывать, что Тифлис 1842 и 1878 годов – это Азия и Европа; теперь приходится искать восточные особенности, а тогда они просто бросались в глаза). На каждом шагу встречалось столько разнообразия, столько обращавшего на себя внимание приезжего, так было мало сходства с нашими городами, столько смеси восточного с западным, что только талантливая кисть могла бы живо набросать эту картину. При самом отчетливом, подробном описании пропустишь какой-нибудь предмет, едва уловимый, но резко характеризующий город с его разноплеменным населением, оригинальными обычаями и веселой на свой лад, шумной жизнью.

Издали казалось, что увижу совершенно азиатский город с узенькими переулками, без площадей, с маленькими, скрытыми за каменными оградами домиками, с неподвижным населением, избегающим палящих лучей солнца, но, миновав заставу, мы поехали по широкой улице с красивыми этажными домами, встречались дрожки извозчиков, коляски, модно одетые дамы и франты, как во всяком большом губернском городе. Медленно подвигаясь вперед мимо гимназии, дома главнокомандующего, корпусного штаба, мы очутились на Эриванской площади, застроенной большими домами, но все это было не вымощено, в ухабах, пыль вершковым слоем покрывала улицы, носилась густым облаком в воздухе. Середина площади была завалена складами бревен, у которых толпилась кучка туземных горожан, передавая друг другу новости и сплетни. Затем поворот налево – Армянский базар, и картина резко изменилась: просто скачок из Европы в Азию. Узенькая улица, где двум дрожкам с трудом можно разминуться, и на ней «какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний»!

Взгляните на этого важного персиянина в высокой остроконечной папахе, в нескольких, надетых один на другой, бешметах, подпоясанного широкой кашмирской шалью, постукивающего коваными каблуками зеленых кошей. Полюбуйтесь на этого грузина: какая красивая физиономия, какая энергия во всех движениях, как он хорош в своей загнутой папахе, в чухе с закинутыми на плечи рукавами (совершенно польский кунтуш), в шелковом ахалуке, обшитом позументами, в широких шелковых шальварах, шумящих при каждом движении, в сапогах с загнутыми носками в виде усиков; как он молодецки идет, держась одной рукой за большой в серебре кинжал и покручивая другой черные длинные усы. А вот купец-армянин, идущий медленно, не обращая никакого внимания на снующую мимо толпу, углубленный в собственную мысль – верно, коммерческие соображения; какая положительность во всем – от костюма до походки, от плотной материи ахалука до степенного покроя чухи, от гладко выбритого лица и даже затылка до объемистого брюха, от огромного носа до коротко подстриженных усов. Обратите внимание на этого *мушу* (носильщик тяжестей) имеретина, у которого на голове вместо шапки какой-то войлочный блин, длинные кудрявые волосы покрывают шею, на нем ободранный солдатский мундир, приобретенный за несколько копеек на толкучке, широкие шальвары и *коломаны* (род лаптей из сыромятной кожи); он согнулся под тяжестью огромного шкафа или непомерной длины мешка с хлопчатой бумагой, так что, глядя сзади, кажется, будто шкаф движется сам собой... Или вот борчалинский татарин с лицом оливкового цвета, в огромной рыжей папахе, в бурке, невзирая на 35-градусную жару, подпоясанный желтым шерстяным платком, на котором болтается кинжал. А как хорош этот черкес с черной бородкой, в круглой меховой шапке, подтянутый ремнем, за которым торчит пара красивых пистолетов, в разноцветных ногавицах и красных сафьянных *чувяках* (род башмаков); как легки все его движения, как все изобличает лихого наездника. Заметьте этих куртин, рослых здоровых людей в красных куртках, вышитых синими или желтыми шнурами, в широчайших синих шальварах, тяжелых красных сапогах, в разноцветных чалмах, с кривыми турецкими саблями у боков. А тут навстречу оборванный *кро* (так называют переселенцев азиатской Турции) в какой-то войлочной арлекинской шапке, несущий большой кувшин воды; или *тулук-чи* (водоюз), ведущий лошадь, навьюченную двумя огромными кожаными мехами, в которых он перевозит воду. Дальше целые вереницы женщин, укутанных с ног до головы в белые чадры, как привидения, тихо подвигаются, постукивая железными каблучками; иные, уже обрусевшие, в салопах, но с грузинским головным убором; татарки в клетчатых чадрах; тут же попадаются и наши бородатые мужички, неуклюжие бабы с талиями под мышками, кучки солдат, форменные сюртуки – и все это перемешано, все движется, толкается, шумит на разных наречиях, дрожки скачут взад и вперед, гремя несносно по мерзкой мостовой, извозчики кричат «хабарда!» (сторонись); продавцы зелени, полузакрытые кучами овощей и трав (до которых азиаты большие охотники), стучат железными весами, звенят привешенными к потолку лавки колокольчиками, зазывая покупателей пронзительными криками: «Ба, ба, ба: суда, суда!» (то есть сюда). Лавочные сидельцы поигрывают на гармониях, не забывая в подражание нашим гостинодворцам всякого проходящего забросать известными: «Что покупаете? Пожалуйста, дешево продаем» и прочее; в сапожных лавках стучат молотками, в шубных – распевают во все горло, в оружейных – стукотня и визг подпилков; множество мальчишек бранятся или поют, силясь издавать визгливые горловые звуки и шныряют между толпой; все открыто, нараспашку, и работают, и едят, не отвлекаясь происходящим перед глазами. Плоские кровли домов усеяны женщинами и детьми: тоже иные ссорятся, иные пляшут под бубен; там идет веселая компания, пищит *зурна* (род кларнета), напрасно силясь заглушить звонкий голос восторженного певца, ободряемого возгласами пирующих *дардымандов* (так называли туземцы забубенных кутил, ведущих разгульную жизнь, главой которых в те времена был князь Арчил Багратион-Мухранский, к великому огорчению своей аристократической родни). Тут скрипит арба, везущая

огромный *румби*¹ с кахетинским вином; там ряд лениво выступающих верблюдов, навьюченных белыми кожаными тюками, столпился у ворот караван-сарая, загородив всю дорогу; десятки навьюченных ослов, понутив головы, пробираются в толпе, подгоняемые немилосердными мальчишками, израненные пинками острых палок. Наконец, после всего этого попадаешь на татарский *мейдан* (площадь, базар), на котором видны только сотни голов в бараньих папах и чалмах или обнаженных, бритых; слышен какой-то гул, совершенное жужжание пчел, сливающийся с однообразным шумом реки, в нескольких шагах протекающей.

Мы переехали мост и мимо лавок с сушеной рыбой повернули в очень грязную улицу, застроенную, однако, небольшими европейскими домиками, – это Пески, часть немецкой колонии, где был известный тогда всему служебному Кавказу трактир колониста Зальцмана.

Когда ямщик, внеся вещи и почесав затылок, получил на водку, вышел и, стоя повернув тройку назад, вскоре скрылся из глаз, мной в первый раз после выезда с родины овладела сильнейшая тоска...

Гостиница оказалась мерзейшей во всех отношениях: и грязь, и множество насекомых, между которыми я некоторых принял за скорпионов и фаланг, потому первую ночь не решился лечь и просидел до утра при свече. Первые впечатления в Тифлисе были не особенно веселого свойства. Вдобавок расстояние до европейской части города было не менее двух с половиной верст, которые приходилось при невыносимой жаре до 38–40 градусов проходить по грязным торговым площадкам и тесным переулкам, а на извозчиков не хватало средств.

На другой день нашего приезда был праздник и всякие парады и торжественные проводы в честь отъезжавшего военного министра графа Чернышева, ревизовавшего и «благоустроивавшего» Кавказский край при помощи статс-секретаря Позена...

Жар и невыносимая пыль от усиленной езды парадных мундиров и разряженных дам были поводом, что я от Сионского собора должен был вернуться в свой грязный трактир и только около семи часов вечера опять пустился на Головинский проспект, центр всех празднеств.

В здании гимназии был бал, а против нее на площадке – фейерверк. Вид был великолепный: множество огней, взрывы ракет. Кура, плававшая смоляными бочками, смешанные звуки военной музыки с зурнами и бубнами, хлопанье нескольких сотен человек в ладоши плясавшим на улице туземцам, толпы женщин в белых чадрах, медленно двигавшихся кругом, как привидения, на горизонте старая крепость на высокой горе, освещенная длинным рядом площадок, – все в одном общем неясном гуле, и над всем южное как-то особенно темное, усеянное мигающими звездами небо...

II.

Июль 1842 года изобиловал такими жаркими днями, что многие, пробывшие в Тифлисе несколько лет, с трудом переносили эту удушливую, расслабляющую атмосферу: доходило до 44 градусов, ночью немногим было легче, да везде пыль, а вода теплая, мутная, из кожаных мехов. Трудно было в такое время совершать немалые переходы по городу, но откладывать некогда, дел оказалось много: губернское правление вызывало чиновников на службу, но мест им не давало, а предоставляло искать самим или же ожидать открытия вакансий, а до того заниматься в правлении без содержания; впрочем, вакансии открывались весьма часто, но в уездах, вне Тифлиса; на выезд же я не мог никак решиться сначала и потому должен был искать в городе службу с каким-нибудь содержанием, а то – голод не свой брат...

Моя чрезвычайная молодость (18-й год), вид скорее гимназиста, нежели человека, приехавшего за две тысячи верст на службу, возбудили особенное участие некоторых второсте-

¹ Бурдюк, мех, из цельной кожи буйвола.

пенных чиновников губернского правления, и они дали мне несколько наставлений, благодаря коим я уже дней через десять имел по крайней мере обеспеченное положение, службу в Палате государственных имуществ и мог, рассчитавшись с грязной гостиницей на Песках, перебраться в соседство к месту службы, в так называемую Арсенальную слободку, к одному из моих новых сослуживцев, некоему В. Ф. Б., годом раньше приехавшему из Смоленска, отличному во всех отношениях человеку и чиновнику, ныне занимающему там же довольно видный пост.

Устроились мы с ним, по тогдашним условиям, хорошо, в какой-то землянке, окна которой были на горизонте улицы, впрочем, опрятно содержащейся (не улице, а землянке). Обед приносила нам соседняя солдатка хороший, кажется, за 10 рублей в месяц; вообще 25 рублей, месячное жалованье, удовлетворяло главным потребностям. Служба состояла в переписывании от 8–9 до 2–3 дня и от 6–7 до 10–11 вечера... Господи, как вспомнишь это неустанное (часто и по праздникам) общее скрипение каких-нибудь пятидесяти перьев, думавших, что совершают важное дело, – просто жутко становится. Такой бюрократической квинтэссенции, как была, например, эта Палата государственных имуществ, трудно себе представить; управлял ею некто Никита Степанович Орловский, человек весьма почтенный, но бюрократ до ногтей, всю жизнь свою, с двенадцатилетнего возраста, проводивший в канцеляриях, начав мальчиком, бегающим за водкой и бубликами для старых подьячих, в Чернигове кажется, поднявшись затем до должности казначея в канцелярии главных начальников Грузии, наконец, назначенный управляющим палатой, украшенный несколькими орденами и с властью казнить и миловать всех своих подчиненных. К чести его, однако, должно сказать, что работал он сам чуть не больше всех своих чиновников и ни в каких злоупотреблениях никто никогда его не подозревал.

Все государственные имущества, за исключением нескольких оброчных статей, по тогдашним обстоятельствам Кавказского края едва ли стоили того, во что обходилось содержание палаты с ее подведомственными уездными управлениями; они точно так же могли заведовать казенной палатой без новых издержек, как и до 1841 года, то есть до учреждения Особой палаты государственных имуществ. Например, в Эриванской провинции (уезде) в числе казенных имуществ считались имения, конфискованные у бежавших в Персию жителей, состоявшие нередко из одной восьмой, даже одной двенадцатой части мельницы, коей вся-то цена 100–150 рублей, следовательно, казенная часть 8–10 рублей; или из такой же доли земельного участка, на котором сеют енжу, род клевера. И вот Палата государственных имуществ (название громкое) заведует этими частями мельниц через своего особого местного агента, окружного начальника, а остальные части ее – в распоряжении других частных владельцев, не ушедших в Персию; собираются доходы, ведется им отчетность, возбуждаются вопросы, пишутся огромные журнальные постановления с неизбежными «приказали: так как... а потому»; перья скрипят, спины ноют; в результате или 1 рубль 76 с половиной копеек, внесенных в уездное казначейство за проданные 155 пучков енжи, или исключение оной восьмой части мельницы из табелей за совершенной бездоходностью или за явкой обратно из-за границы Келбалай-Гасан-Мустафы-Оглы и прочее, и прочее.

Это монотонное канцелярское существование не могло удовлетворять моей подвижной натуре, постоянно жаждавшей перемен, новых образов и ощущений. Вне службы я предался чтению с каким-то запоем. «Библиотека для чтения», «Отечественные записки», сочинения Марлинского, переводные романы Дюма, Сю и множество всякого печатного хлама, за недостатком тогда более питательной умственной пищи, проглатывались с жадностью. Город и его окрестности после первых, скоро исчезнувших впечатлений стали мне противны. Я рвался вон, куда бы то ни было, лишь бы побывать в новых местах, посмотреть поближе на тот Кавказ, который рисовала мне собственная фантазия, возбужденная очерками Марлинского, на те горы и дикие ущелья, где геройствовали наши войска – одним словом, где, казалось, должен быть другой, неведомый мир, полный всяких диковин и сильных ощущений. Скука и тоска, одоле-

вавшие рано или поздно всех приезжих, отсутствие всяких общественных удовольствий при ежедневных утомительно-механических занятиях переписыванием «так как и потому» делались невыносимы.

Чиновный класс так резко делился на высший и низший, что среднего почти не было; гостиные первых были недоступны низшим, а эти по недостатку средств жили замкнуто, вынужденные предаваться картам или вакхическим развлечениям, страсть к коим была развита в поразительной степени, особенно в уездных городках. Изобилие и дешевизна местного вина загубили не одного, даже и порядочного чиновника; пьянство доходило до безобразия, особенно резко бросавшегося в глаза среди туземцев – или не пьющих вовсе, как мусульмане, или пьющих хотя и много, но весьма редко пьянеющих, как грузины, у которых слова *русси* (русский) и *лоти* (пьяница) были синонимы неразлучаемые... Каково было нравственное влияние подобных представителей русского управления и какое уважение к ним туземцев – представить себе нетрудно, в особенности если прибавить преобладающий элемент взяточничества, опять-таки более среди уездной и особенно полицейской администрации... В последнем отношении за Кавказом многие перещеголяли тех героев, которых Щедрин и его последователи так обильно рисовали в конце пятидесятых годов. Прodelки некоторых уездных начальников и участковых заседателей (становых) долго хранились в памяти кавказских старожилов и теперь показались бы разве анекдотами, более или менее остроумными... Один собирал со всех жителей своего участка по несколько гривен будто бы на приданое одной из великих княжон, выходявшей за германского принца. Теперь память мне изменила, а то можно бы не одну страницу наполнить подобными образчиками. Грустно и обидно, да шила в мешке не утаишь... Что и говорить, немногим отставали в этом отношении от наших артистов и чиновники из туземцев. Но, во-первых, это для наших плохое оправдание, а во-вторых, туземцы как-то ловчее умели делаться со своими единоплеменниками, заглаживали свои проделки то укрывательством и потворством их преступлений, то угощениями, то запанибратством с более влиятельными людьми или маскированным поклонением разным местным обычаям.

Возвращаюсь к тифлисской жизни. Переписывание в палате до ломоты в плече, чтение дома до рези в глазах изо дня в день, деваться некуда; с туземцами-сослуживцами у нас тогда не было ничего общего: у них свои привычки, свои потребности, свои страсти, между прочим, к новостям и сплетням. При каждой встрече двух грузин первый вопрос: *ра-амбавия?* двух армян: *инчь-хабаре?* двух татар: *на-хабар?* (что нового?) – без этого разговор не начинается. Назначение нового главноуправляющего краем генерала Нейдгарта, его строгие распоряжения, преследовавшие злоупотребления, несчастные военные действия 1843 года давали обильную пищу всем *амбавистам*; постоянное место их вечерних сходбищ – кучи бревен на Эриванской площади – представляло часов около семи-восьми разнообразную картину: по всем направлениям стояли кучки в пестрых костюмах, перебирали четки и вполголоса рассказывали новости. Тайны для них не существовало: что бы ни случилось, какое бы ни затевалось дело, стоило выйти на площадь и, зная туземный язык, можно было все узнать, конечно, нередко в искаженном, преувеличенном виде, но большей частью все-таки с долей правды. По поводу этих *хабаров* в Тифлисе часто рассказывались забавные анекдоты. Так, один из чиновников *средней* важности долго ждал обещанного места и был, что называется, на иголках. При встрече с одним знакомым старожилом он передал ему свое неприятное положение, а тот дал ему, не шутя, совет послать доверенное лицо вечером на Эриванскую площадь. И действительно, посланный вечером возвратился с известием, что на площади рассказывали о назначении NN на такое-то место, а на другой день явилась и официальная бумага. Так, вскоре после отъезда графа Чернышева *амбависты* уже толковали, что генерал Головин, главноуправляющий Кавказом, будет сменен – и действительно, месяцев через пять, не больше, сделалось известным назначение генерала Нейдгарта.

Евгений Александрович Головин был назначен главным начальником Кавказа в 1837 году, на место барона Розана, которым император Николай остался недоволен в свой приезд на Кавказ, причем открылись большие злоупотребления некоторых полковых командиров, в том числе флигель-адъютанта князя Дадьяна, женатого на дочери барона Розена. Дадьян был тут же разжалован и отправлен в ссылку, и хотя государь тогда же возложил снятые с Дадьяна флигель-адъютантские аксельбанты на сына Розена, но старика это не спасло, и он вслед за тем был уволен. Считаю нелишним присовокупить, что неправильные действия, за которые Дадьян так тяжело поплатился, были, к сожалению, далеко не редкостью в то время в нашей армии.

Генерал Головин был человек умный, начитанный и, как видно по многим бумагам, лично им писанным, владевший хорошо пером. Ему, однако, кажется, недоставало энергии и самостоятельности, особенно в военных делах. Говорят, что когда выбор покойного государя остановился на нем для должности кавказского главноуправляющего, чуть ли не Чернышев доложил, что Головин все время своего генерал-губернаторства в Варшаве проспал. «Ну, тем лучше, значит, выспался и теперь не будет дремать», – возразил государь. Должно быть, однако, Чернышев не жаловал его и по возвращении с Кавказа в Петербург вскоре устроил его увольнение за неуспешность военных действий. Между тем сам сей всеильный тогда вельможа принес своим приездом ту пользу Кавказу, что несколько хорошеньких туземок, их мужья и родственники получили крупные пенсии за небывалые услуги русскому правительству, да в управлении Черноморского казачьего войска последовали нововведения, оказавшиеся впоследствии негодными; наконец, по его, Чернышева, соображениям, основанным, по-видимому, главнейше на свежих впечатлениях весьма неудачной, чуть не на его глазах совершенной генералом Граббе Ичкеринской экспедиции, ввели новую систему военных действий – «оборонительную», чрезвычайно поднявшую дух горцев и Шамиля, уверявшего их, что русские его боятся. Бездействие наше дало им возможность выполнить давно задуманный план – возмутить всю покорную часть Дагестана; печальным результатом этого был переход Шамиля из оборонительного в наступательное положение, потеря нами десятка укреплений в нагорном Дагестане, истребление всех их гарнизонов, приобретение Шамилем множества орудий, снарядов и прочих запасов, нравственное усиление его на всей обширной враждебной нам территории, что заставило нас опять перейти в наступление и вызвало, наконец, с нашей стороны чрезвычайные усилия, подняло войну до небывалых размеров и послужило поводом падения только что назначенного генерала Нейдгарта, весьма мало в этом повинного, сыгравшего только жалкую роль козла отпущения... Он, впрочем, в короткий период своего управления обратил большое внимание на гражданские дела, на соблюдение экономии и принялся было за чиновников по тогдашнему военному приему, нагнав панику немалую.

III.

Прошло почти два года со времени моего приезда в Тифлис, и я все еще не нашел возможности вырваться из него. Я уже стал подумывать, не бросить ли вообще гражданскую службу, не представляющую в будущем ничего, кроме того же бесплодного скрипения пером, и не поступить ли юнкером в полк? Я бы так и сделал, если бы не препятствие, преодолеть которое я не имел возможности. Получив казенные прогоны и, кажется, около 200 рублей пособия по приезде в Тифлис, я обязан был за это прослужить три года, если бы уже вздумал выйти раньше, то должен был возратить назад все деньги, переход же в военную службу считался бы все равно нарушением обязательства. Таким образом, оставалось ждать еще целый год, что для нетерпеливого девятнадцатилетнего юноши было очень трудно, или бросить идею о переходе в военную службу. И ведь странно, что мне, уже с детства проявлявшему решительную склонность ко всему военному, до того что девяти-десятилетним мальчиком я жертвовал самым сладким утренним сном, рисковал быть строго наказанным, в три-четыре часа утра бежал за

город, лишь бы хоть часочек посмотреть на учения какого-нибудь батальона, послушать зычную команду молодцеватого майора и тот особенный, шикарный, единозвучный лязг, раздававшийся при прodelывании некоторых ружейных приемов, который составлял гордость истых служаек того времени и наслаждение зрителей, не только мальчиков, но и многих взрослых обоего пола особ, конечно, не из низшего рабочего класса. И так, мне на пути к удовлетворению этой страстной наклонности ставились препятствия, заставлявшие меня сворачивать на другие, не добровольно избираемые пути. Должно быть, однако, что искреннее, сознательное настойчивое стремление к чему-нибудь в большинстве случаев достигает цели, невзирая на препоны, и я хоть гораздо позже, при совершенно уже других обстоятельствах, попал-таки в военные, но уже не в те, которые наслаждались ружейными приемами, да таких и вообще на Кавказе было весьма мало. Но об этом в своем месте.

Совершенно неожиданный случай познакомил меня с майором князем Михаилом Ивановичем Челокаевым, начальником Тушино-Пшаво-Хевсурского округа, человеком без всякого образования, но по-своему весьма умным. Я просил его о назначении меня на вакантную должность письмоводителя окружного управления, что дало бы мне возможность выбраться наконец из душной городской и канцелярской атмосферы в горы и дикие ущелья, к которым я так давно стремился, да вдобавок увеличило бы мое содержание до 450 рублей вместо 300 рублей в год. Просьба моя была принята, и в двадцатых числах июля 1844 года я оставил надоевший мне Тифлис, пускаясь опять в странствия к неведомым местам, к неизвестным людям. Чтобы избежать палящего зноя, я выехал вечером, ехал всю ночь и к рассвету очутился на реке Иоре. Через эту быструю реку, разливающуюся у села Муганло на несколько рукавов, переезжали вброд при помощи жителей татар, поддерживавших в воде экипажи. Местность эта пользовалась тогда особенной известностью: здесь «потонул» один из почтовых чемоданов с 47 тысячами рублей. Подозревались в этой истории помещик ближайшей деревни полковник князь Андроников и местная полиция, были они впоследствии и арестованы; следственных комиссий было много, а чемодан с деньгами канул в воду. На этот раз поговорка, что «казенное в огне не горит, в воде не тонет», не оправдалась.

Проехав уездный город Сигнах, раскинувшийся в живописном беспорядке у подножия довольно крутой горы, увенчанной старинной крепостью, я поздно к вечеру достиг другого уездного городка Телава, бывшего столицей кахетинских царей и любимым местопребыванием последних двух царей Грузии – Ираклия II и Георгия XIII, передавших свое маленькое царство России для предохранения его от окончательного истребления мусульманами. Город раскинут довольно живописно на высоте, среди садов; вся долина Алазани (Кахетия) как на ладони, и посредине ее виднеется известный всему Кавказу Алавердский собор, постройку коего приписывают кахетинскому царю Кирику еще в IX веке. 14 сентября в нем бывает годовой праздник, к которому стекается множество богомольцев из всей Грузии, но, конечно, «богомольцы» эти не то что толпы лапотников, стремящихся к Киеву, Соловкам и Воронежу – здесь это разряженная, праздничная толпа, желающая повеселиться, предпринимающая *partie de plaisir*, окруженная великолепной природой, роскошными виноградниками, фруктовыми садами, пирующая под чистым сводом южного неба. Тут разгульная жизнь кахетинцев: не только князья, но и простой народ выказываются нараспашку – пьют, поют, пляшут, стреляют, потешаются разными фокусниками, борцами и другими народными забавами, и все это целые сутки без перерыва, только приличия ради с утра заглянут в церковь, наполненную старухами... Ночью особенно хороша картина: кругом версты на три тысячи костров освещают пирующие группы, песни, выстрелы, ржание коней, бляение и мычание скота, рокот тут же бегущей быстрой Алазани, все это в одном гуле, в одном дико-эффектном освещении!

Из Телава, где прекращается почтовое сообщение, я нанял верховых лошадей и отправился в село Матаны, имение князя Челокаева. Дорога пролегла через много деревень, тонущих в зелени: богатая растительность, красивые виды заставляли забывать неудобства езды,

тем более скучной, что проводник не знал ни слова по-русски, и мы обречены были на молчание. Кругом видны были развалины церквей и замков, построенных большей частью на крутых лесистых возвышенностях; в густых кустарниках, издававших приятный аромат, перепархивало множество невиданных мною до того птичек. Встречные грузины на тяжелых арбах, едва влекомых неуклюжими буйволами, прерывали свои дико-заунывные напевы, чтобы произнести обычное: *гамарджобад* – «победа вам», то есть здравствуйте, и слить последнюю букву опять с напевом; попадались женщины верхом и под зонтиками, целые семейства в арбах, закрытых коврами, сопровождаемые своими мужьями и слугами верхом, или ряд навьюченных лошадей и катеров (мулы): на передней сидит верховой, а шесть-семь задних привязаны к хвостам друг за дружкой, оттягиваются, лягаются – очень комичный вид с непривычки.

Переехав вброд быструю речку Ильто, я прибыл в Матаны уже в сумерки. Дом князя Челокаева находился внутри крепости, составлявшей четверугольник с башнями по всем углам, еще хорошо сохранившейся: такие крепости были у всех князей, даже у некоторых дворян, и туда в случае сильных нападений горцев скрывались семейства и имущества всей деревни; только с сороковых годов начали многие уже строить себе новые дома полуевропейской архитектуры, крепости стали приходить в упадок. Горцы продолжали мелкие хищничества, но грозные появления целых полчищ сделались чрезвычайной редкостью (за мое время их было только два; расскажу о них в своем месте). Во дворе крепости была небольшая каменная церковь, к одной из стен был пристроен дом князя, состоявший из нескольких комнат, полуевропейски убранных, большой, во всю длину деревянной галереи, и внизу кухни, службы и прочее. В комнатах длинные нары (тахта), покрытые персидскими коврами, много оружия развешано по стенам, в углах шкафы с посудой, между которой серебряные *азартешии* (вроде разливных ложек), *кулы* (кувшинчики с длинными узенькими горлышками), большие кувшины, чаши, несколько пар огромных турьих рогов, оправленных в серебро с бирюзой, – все напоминало о гомерических попойках.

Радушно принятый хозяином и начальником, я расположился в отведенной мне в нижнем этаже комнате, или правильнее – подвале, в котором, кроме покрытых старыми ковриками двух *тахт* да треногого столика, ничего не было; окно заклеено бумагой, сырость и мрак, общая принадлежность не княжеских азиатских жилищ, царствовали тут; впрочем, в очень жаркое время это было приятно. Множество прислуги, оборванной, грязной, ленивой, суесящейся только по крику князя (то же, что и в большей части русских помещичьих домов недавнего времени), от которой трудно было допроситься кувшина свежей воды, не обещало особых удобств жизни. Первые дни одним из моих единственных развлечений было взбираться на высокие фиговые деревья и, подбирая лучшие зрелые плоды, в то же время любоваться прелестнейшим видом всей долины до Телава. К Челокаеву, славившемуся своим гостеприимством даже между своими, вообще столь гостеприимными соотечественниками, постоянно приезжали и по делам, и в гости соседние князья. Не понимая ни слова, я, однако, с любопытством наблюдал их все приемы, манеры, резко оригинальные и характеристические, носившие, впрочем, сильный отпечаток персиянизма, утонченной лести и десяти тысяч церемоний. Иной, подъезжая к крепости, вдали слезал с коня, поправлял платье, опускал рукава чухи – знак почтения, входил с докладом, с низкими поклонами, на что хозяин, не изменяя обычного полулежащего на тахте положения, произносил «а, а!» и спрашивал: «Ра-амбавия?». Гость садился, как видно было, уже после нескольких приглашений. Другой слезал с коня у самых ворот, входил без доклада. Хозяин вставал, подавал руку, тотчас начинался шумный, живой разговор, сопровождаемый громким смехом и жестами. К приезду третьего, завиденного издали, хозяин выходил на крыльцо или даже за ворота, кричал «а, а! князь NN!» еще сидевшему на лошади гостю, с этим обнимались, провожали в комнату, снимали с него саблю (без сабли, кинжала, а помоложе – без пистолета никто не выезжал); он сейчас посылал человека к княгине, по обычаю не выходявшей из женской половины, доложить о приезде, передать почтение и поклон от

своей семьи; начинались беготня, добавочная стряпня к обеду или ужину; при этом я заметил, что для излюбленных гостей непременно заказывались макароны – европейское нововведение и нечто вроде редкости. Громкий разговор, сопровождаемый непременно раскатами особенно здорового, от всего сердца хохота и энергичной жестикуляцией, не умолкал; иногда хозяин или гость брали *тари* (род балалайки) и, ударяя по металлическим струнам, запевали большей частью персидские мелодии или стихи из известной грузинской поэмы Руставели «Барсова кожа», выше которой, по мнению тогдашних грузин, уж конечно, ни одна литература ничего представить не могла. Затем опять разговоры, рукопожатия и разные жесты – очевидно, уверяли друг друга в неизменной любви и преданности. Таким образом собирались иногда несколько человек; наступало время обеда, накрывали в большой комнате на тахте, вместо скатерти расстилали узкий длинный кусок темного ситца, перед каждым прибором клали большой *шоти* (пресный хлеб) и ставилась бутылка с вином, кувшины про запас оставались в углу.

По приглашению хозяина гости, поджав ноги, садились на той же тахте по старшинству в ряд, и начинался обед с *бозбаши* или *чихиртма* (род супов: первый – из баранины, второй – кислый из кур), каждый крошил себе туда хлеб, и ели большей частью руками, ложки, вилки и ножи оставались без употребления; для отрезания вынимались из ножен кинжалов ножики; аппетит без исключения бывал у всех отличный, ели с особенным присмакиванием, здорово, не жеманясь, даже славно было смотреть. Кто-нибудь из старших гостей или сам хозяин, налив стакан вина, обращался к присутствующим с неизменным приветствием: «Хвала Богу, да дарует победу хозяину дома или князю NN и всем, здесь присутствующим». Это повторялось тотчас всеми. После пили уже, кто когда вздумает, желая здоровья хозяину и почетным гостям. Если же обед принимал характер более шумный и сопровождался доброй попойкой – так большей частью и бывало, – то кого-нибудь поздравляли *толубашем* (глава, законодатель пирушек), и начинались тосты один за другим без перерыва, и за всех присутствующих, и за их семейства, и за отсутствующих, и прочее. Сначала ходили по рукам стаканы, потом чаши, рога или по несколько стаканов разом на тарелке; обнимались, целовались, кричали «алла-верды» (по-татарски – Бог дал), на что отвечалось: «иахшиол» (будь здоров); раскутившись, бросали стаканы и тарелки, пол покрывался черепками, проворно убираемыми прислугой. Лица краснели, разговор превращался в общий шум, начинались хоровые песни, не совсем приятные для слуха, где видно было старание перекричать друг друга, до охрипки. Для подобного пения призывали иногда кое-кого из дворни или из крестьян, который с подобострастием, после множества поклонов, подходил к тахте, становился на колени и затягивал; получив в награду большущий сосуд с вином, он произносил обычное поздравление и, осушив до дна, незаметно, задком, исчезал. Иногда хозяин схватывал бубен, с особенной ловкостью ударял в него в такт *лезгинки* – единственный общеупотребительный танец, и кто помоложе, половчее пускался в пляс, иногда тут же по скатерти между тарелок, выделявая ногами такие дробы и фокусы, и все так ловко, грациозно, что действительно, хоть на сцене показать; все присутствующие хлопали в такт в ладоши, выражая удовольствие покрикиваниями. Кутеж продолжался до сумерек, пирующие расходились: кто на двор – посидеть на свежем воздухе, кто в угол – вздремнуть. Гости оставались большей частью ночевать, подавались сальные свечи в больших старинных медных шандалах, чай, главное достоинство которого – побольше сахару; начинались игры в *нарды* (бросание костей) или в карты: *цхра* и *асунас* – азартные игры; играли на *тари*, пели уныло-сладострастные персидские мелодии. В десять часов ужин и большей частью опять тот же кутеж до полуночи... Затем гостей укладывали спать по несколько в ряд на тахте; некоторых старших особо, на диванах, а кто помельче отправлялся вниз, ко мне; храп раздавался гигантский; воды за ночь испивались бочки. Но пьяных, не держащихся на ногах или лезущих драться, я никогда не видел – такова уж сила привычки к вину и, должно быть, натура.

Родословная – это альфа и омега для грузина: настоящий человек – только князь хорошей старой фамилии, а дворянин и все остальное – мелочь, обязанная поклоняться и честь

знать; а уж особенно русский, если по занимаемому месту не имел выдающегося значения и силы, трактовался не только как не князь, следовательно, во всяком случае мелкий человек, но еще и как *симбирели* (сибиряк, в презрительном смысле) и как *лотти* (пьянчужка). Много горечи пришлось мне испытать, пока я впоследствии таки довел этих сиятельных, недалеких умом и образованием добряков до вежливого обращения и до сознания, что нет правил без исключения.

Я довольно скоро стал понимать более употребительные фразы, записывая слова по-русски, но пока не достиг более правильного умения говорить по-грузински, всегда показывал вид, что ничего не понимаю, и когда обращались ко мне, я, в свою очередь, обращался к князю Челокаеву или его помощнику Рушеву за переводом. Это чрезвычайно облегчало мне мою задачу: вразумить господ князей, что у нас и не князья люди, что невежливости дурно рекомендуют тех, кто их себе позволяет, и что они, как видно, не имели случая встретить русского, который бы опроверг их ложное понятие обо всей нации. Помню, однажды за обедом, по обыкновению шумным, один князь с нахальной миной обратился ко мне: «Э, руссо, далие» (Э, русский, пей). Я, будто не понимая, спросил у Челокаева: «Что говорит этот господин?» – «Князь предлагает вам пить». – «Скажите ему, пожалуйста, – ответил я, – что, во-первых, по нашим обычаям ко всем обращаются по имени-отчеству, без «ы», что считается невежливостью; во-вторых, что угощать гостей может только хозяин, а не такой же гость; в-третьих, что если бы я хотел пить, то предо мной бутылки и стакан, а подобные напоминания похожи на то, как кучера посвистывают лошадям в воде, приглашая их пить». Князь Челокаев, казалось, смягчил перевод, но последнее сравнение пришлось по вкусу публике, раздались громкий хохот и даже тосты за меня.

Да, бывали неприятные минуты в первое время пребывания в этом новом для меня кругу; подчас с сожалением вспоминались и тифлисская канцелярия, и еще более далекая родина... Но делать было нечего, выход из этого положения был слишком труден. Бросить службу и уехать обратно в Тифлис... но нечем было жить, другого места не скоро можно было добиться, когда число чиновников до того увеличилось, что уже прекратили вызовы, и на каждую вакантную должность считалось по несколько кандидатов. Я решил терпеть до возможности, как ни возмущали меня эти пренебрежительные обращения ко мне тогдашних сиятельных кахетинцев, а еще более постоянные насмешки и остроты над русскими. Между тем сам окружной начальник был довольно вежлив, пускался в откровенности, представлял возможность служебной карьеры в случае ожидавшихся военных действий с его участием, старался заглаживать скверные впечатления, о которых я стал ему намекать, оправдывая своих соотечественников незнанием России, ее обычаев и прочего.

Тяжел был для меня первый год, пока я не овладел вполне грузинским языком и не ознакомился с местными обычаями и нравами. Зато уж и удовлетворял же я себя после насчет большинства тех господ князей, которые отличались особенным злорадством. Впоследствии, чтобы поддерживать свое упорное убеждение, что русский, да еще такой маленький чиновник, должен быть непременно *лотти* и вообще не заслуживающий уважения субъект, они ухватились за мою немецкую фамилию и вероисповедание и не иначе звали меня, как *нэмса* (немец), следовательно, и не удивительно, что не лотти и другой человек... Все мои уверения, что ни фамилия, ни исповедание ничего не значат, что я чисто русский душой и телом, что десяток дрянных чиновников не могут служить представителями семидесятимиллионной нации и прочее, ни к чему не вели. Даже несколько князей, воспитывавшихся в Петербурге, служивших в гвардии, не могли изменить взглядов большинства, опиравшегося на факты и рассказы о различных безобразиях чиновников уездной администрации, равно офицеров и солдат войск, расположенных за Алазанью на кордоне.

Грустно вспоминать об этих временах, к счастью, давно уже минувших, и должно надеяться, безвозвратно. Уже с конца сороковых годов Закавказский край стал исподволь напол-

няться другими людьми, вытесняя негодную закваску прежних безобразных вызовов, а еще через десять лет контингент чиновников, за малыми исключениями, мог считаться относительно внутренних губерний образцовым. Как и по каким причинам произошла такая перемена к лучшему, я постараюсь подробно изложить дальше, когда придется говорить о временах князя Воронцова, замечательного государственного человека, который при некоторых своих недостатках (а кто же их не имеет?) две обширные области России – Новороссийскую и Кавказскую, можно сказать, извлек из хаоса и поставил на путь правильного развития.

IV.

Собственно резиденция окружного управления была в селе Тионеты, верст около 25 от Матаны далее к горам, но Челокаев предпочитал жить у себя в деревне, считавшейся тоже в составе округа, и здесь устраивалась походная канцелярия. Однако, прожив некоторое время тут, я заявил желание отправиться, наконец, в Тионеты, чтобы познакомиться ближе с делами, с тамошним помещением и прочим.

Дорога из Кахетии в Тионеты – самая привлекательная поездка; первые семь-восемь верст она идет по ущелью реки Ильто, которую приходится переезжать вброд на этом пространстве до десяти раз: речка то с шумом низвергается с высоты нескольких футов, то пробивается между огромных камней, то сочится под вековыми деревьями, снесенными с корнем бешеными потоками, мгновенно образующимися при сильных дождях; оставив вправо речку, дорога идет по небольшим лесистым возвышенностям и вдруг с одной открывает две прекрасные картины: сзади вся Кахетия, окаймленная слева гигантскими снежными вершинами Главного хребта, справа – лесистым Гомборским хребтом, по коему разбросаны старые крепости и монастыри, посредине бежит Алазань, берега которой усеяны деревьями и виноградниками, потонувшими в синеватой мгле; в центре резко выдающийся белизной Аллавердский собор, и далее едва белеющие домики Телава. А посмотрите вперед: плоскость верст десять в окружности, раскинувшаяся у подножия лесистых гор, прорезанная быстрой, извилистой рекой Иорой и множеством мелких речек, усеянная деревушками, среди которых отличаются величиной Тионеты; вдали снежные макушки Борбало и Чичос-Тави, высочайших точек этой части Главного Кавказского хребта.

Спустившись на эту плоскость, я переехал вброд через Иору у самых Тионет и очутился во дворе полуразвалившейся старой крепости, постройку коей, как и всех древних зданий в Грузии, приписывают царице Тамаре. Над воротами к стене были прибиты деревянными колышками десятка два рук, настоящих, человеческих, и все правые, многие – совсем почти черные, некоторые – только голые кости. Это обычай большинства кавказских горцев: отрезать у убитых врагов кисти правых рук и в виде трофея прибивать к стенам собственных домов или домов своего начальства. На первых порах вид этих зверских трофеев возбуждал во мне сильное отвращение, но я напрасно старался, проходя мимо, не поднимать к ним глаз. Наконец, я привык к этой отвратительной картине. Снять руки со стены князь Челокаев не соглашался, чтобы не оскорбить горцев: они могли бы почесть это знаком неудовольствия к их подвигам в деле истребления хищнических шаек, а между тем это следовало всеми мерами поощрять. Внутри развалин стояли одинокая хижина, подобие малороссийских крестьянских хат, с двумя заклеенными бумагой окошечками – это была канцелярия, да две уцелевшие башни: в одной была устроена комната, где помещался окружной начальник, приезжая сюда, в другой кое-как мостились четыре донских казака – единственные русские люди в округе. Перспектива жизни при таких условиях, да вдобавок без книг, которых я, с трудом и долго ожидая, едва мог добиться из Тифлиса, признаться, была не блистательна: ни товарищей, ни общества, среди народа, не понимающего по-русски, и при скверной материальной обстановке... Но я решился выдержать характер. Время проходило среди служебных занятий, то есть отписывания бумаг,

посылавшихся к подписи в Матаны, в прогулках по берегу Иоры и смотрении на ловких рыболовов, закидывавших искусно свои сети и вытаскивавших всегда десятки прекрасной форели и других вкусных рыбок, да в изучении грузинского языка. С каждым днем я стал более и более убеждаться, что жить среди этого народа и придерживаться своих европейских обычаев невозможно. Между сотнями людей, не покидающих оружия, ходить в статском сюртучке и неудобно, и смешно; постоянно разъезжать верхом по гористым, неудобным дорогам, переправляться вброд через быстрые реки, ждать нападения хищнических шаек близких соседей – непокорных горцев в нашем костюме, без оружия опять и неудобно, и даже как-то щекотливо. Я начал с того, что нарядился в черкесский костюм, самый удобный и красивый, получивший право гражданства на всем Кавказе, обзавелся собственной верховой лошадью, оружием и всеми принадлежностями коренного джигита (удальца-наездника), да с большим успехом и довольно скоро усовершенствовался в верховой езде. Одно это уже подняло меня в глазах жителей, которые не могли никогда без смеху видеть чиновников, уродливо болтавшихся на лошадях, державшихся обеими руками за гриву и действительно изображавших всей своей наружностью весьма жалкие комические фигуры. Повозочного же сообщения здесь, как и в большинстве мест за Кавказом, не было, и всяк должен был садиться верхом на плохо выезженных, горячих горских лошадей. Через год я стал свободно объясняться по-грузински, а выучившись после еще читать и писать, усовершенствовался на удивление всем грузинам. Выговор – это неодолимое препятствие для всех европейцев – дался мне, однако, настолько, что даже трудно было угадать во мне не грузина. Постоянной наблюдательностью, расспросами, сношениями с туземцами я узнал в подробности их нравы, образ жизни, взгляды и наклонности, и впоследствии в обществе туземцы почти забывали, что я русский, однако перестали при мне пускаться в ругательства и насмешки. При этих условиях и жизнь моя стала разнообразнее и легче; я стал находить в этой воинственной, полукочевой жизни своего рода поэзию и, наконец, пристрастился к ней до того, что изменить ей и работаться со средой, у которой я приобрел уважение, казалось мне невозможным. Те же князья, обращение которых так раздражало меня год назад, наперерыв стали выказывать мне свое дружеское расположение, извиняясь за прошлое и ссылаясь на свои вкоренившиеся убеждения, что дворянин ни в чем не может равняться с князем и пользоваться одинаковым вниманием. И действительно, у них дворяне, большей частью бедняки, составляли низший класс, а в Имеретии до недавнего еще времени были *крепостные* дворяне, законно признанные и утвержденные нашим правительством...

Прежде чем продолжать рассказ, считаю нужным сказать несколько слов об официальном значении Тушино-Пшаво-Хевсурского округа, его отношениях к высшим властям и прочем. Округ заключал в себе значительное пространство Главного Кавказского хребта по обоим его склонам, населенное в диких, труднодоступных ущельях тремя племенами, по которым и назван округ; кроме того, Тионетскую долину в верхнем течении Иоры с грузинским населением и три деревни в Кахетии, ближе к округу лежащие, причисленные к нему будто бы по большему удобству управления, а в сущности, по ловко проведенному ходатайству Челокаева, желавшего свое имение – село Матаны и село Ахметы иметь в своем же официальном ведении, а также для того, чтобы над князьями Челокаевыми, его дальними родственниками, которым Ахметы принадлежат, иметь влияние, играть роль старшего и иметь возможность властью местного начальника оказывать или не оказывать свое расположение, одним словом, удовлетворять своему непомерному тщеславно.

Округ, входя в состав Тифлисской губернии, подчинялся губернатору и всем губернским учреждениям, но так как он в горных своих пределах прилегал к некоторым непокорным обществам, производившим мелкими партиями хищнические нападения и в округе, и проходя через него в ближайших местностях Кахетии, то в отношении обороны и других этого рода дел округ был подчинен и военному начальству Лезгинской кордонной линии. Сношения с гражданскими управлениями ограничивались пустейшими форменными переписками и так

называемыми срочными донесениями с цифрами наобум, а чтобы не связывать себя излишним контролем, Челокаев ловко обходил тифлисское начальство, которому он сумел отуманивать глаза исключительностью положения своего округа, находящегося в непрерывной будто бы опасности и потому трудноподводимого под общие правила и законы. Так там и махнули на этот округ рукой. У военного же начальства, не вмешивавшегося во внутреннее управление, гораздо легче было приобрести расположение, выставляя последствием своей благоразумной деятельности незначительность хищнических нападений, тогда как это просто зависело от свойства самой местности, да и жители, особенно тушины, ближайšie к неприятельскому населению, были люди воинственные, хорошо вооруженные, нередко истребляли целые шайки и сами хаживали на такой же промысел в отместку лезгинам. Таким образом, округ управлялся более по старинным преданиям, патриархально, или просто говоря – вполне по личному произволу окружного начальника, соединявшего в себе и судью, и администратора. Высшее начальство никогда сюда не заглядывало, жалоб до него не доходило, потому что население со времен грузинских царей привыкло видеть в своем правителе полновластного человека, на которого некому жаловаться. Сам князь Челокаев был человек ловкий, действовавший по сложившимся издавна понятиям, и хотя сознавал, что по смыслу русского закона он злоупотребляет властью, но не придавал этому особого значения, видя кругом себя не лучший ход дел и большей частью совершенную безнаказанность. Характер у него был трудноопределимый, загадочный. То откровенный добряк, простота сердечная, то скрытен, хитер и жесток, подчас до свирепости, то щедр, юношески расточителен, готов с беспечностью не по летам на всякую глупость, то ужасно скуп, угрюм, груб; за обедом гость его, какой-нибудь князь Отар или Давид, друг сердечный, излюбленный, которому он клянется (да ведь как клянется: и гробом отца, и счастьем детей) в самой душевной привязанности, в готовности пожертвовать всем, только прикажи, а через час после отъезда этого гостя он перед другим, все это слышавшим гостем же или передо мной пустится ругать *друга* на чем свет стоит: зовет его своим заклятым врагом, и «пусть у меня рука отсохнет, пусть все дети погибнут, если я не заставлю его ползать предо мною». Явятся какие-нибудь просители, особенно из пшавцев, больших охотников до сутяжества, слушает он их со вниманием, очень ласково объясняет, расспрашивает, и когда те вполне уверены в отличном исходе своего дела, он вдруг вскочит, начнет площадно ругать, колотить по щекам, прикажет гнать нагайками из крепости или совсем рассвирепееет, велит арестовать, набить кандалы. А то наоборот: не успеет проситель рот разинуть, как уж на него сыплются ругань, удары, приказания сечь, гнать, но не прошло часу, несчастного просителя разыскивают по всей деревне, ведут ни живого ни мертвого пред грозные очи начальника, а тот как ни в чем не бывало начинает ему говорить любезности, обещает устроить его дело, велит подать вина и угостить, даже иного с собой посадит за стол. Изучал я его долго, и все же он оставался для меня какой-то загадкой; думаю, однако, что выходы с просителями были напускные запугивания, чтобы боялись, беспрекословно покорялись всем требованиям, заявлявшимся без особых церемоний, впрочем, большей частью через кого-нибудь постороннего, например священника или какого-нибудь старика из тионетских жителей, в виде доброго совета просителю.

Вследствие подчиненности военному начальству, с которым происходили довольно деятельные сношения, я невольно стал знакомиться как с военно-распорядительными порядками, так частью с ходом дела, общими предположениями и мерами к обороне края и действиями против неприятеля, даже вне пределов округа. Лезгинская линия вмещала в себя значительное пространство от города Нухи до крайних пределов нашего округа в верховьях реки Аргуна; оконечности этой линии считались менее подверженными вторжениям неприятеля, а центр от кахетинских селений Шильда, Енисели, Кварели до крепости Закаталы (местопребывания главного начальника линии) – более всего опасными. Между Закаталами и Нухой находилось владение султана илисуйского Даниель-бека, генерал-майора русской службы, самовластного управителя своего ханства, человека, считавшегося преданным нашему правительству. У него

было несколько аулов и по ту сторону хребта, в верхнем течении реки Сакура, при содействии которых он обеспечивал наши сообщения с лежащими ниже по этой реке покорными нам обществами и охранял не только свое владение, но и все окрестности и, что весьма важно, почтовый путь от Тифлиса к Нухе от всяких неприятельских нападений. Хотя мусульманин, но человек богатый и влиятельный своим аристократическим происхождением, он не допускал фанатически-религиозным учениям Шамиля и его приверженцев о кровавой вражде к русским распространяться между соседним с Кахетией мусульманским населением. Все это обеспечило нас с этой стороны настолько, что военные средства Лезгинской линии ограничивались тремя линейными батальонами, несколькими сотнями донских казаков да незначительной кордонной стражей, выставяемой кахетинцами. Никаких военных действий с этой стороны не было; все военные средства и усилия могли быть обращены в Дагестан и Чечню, где был главный театр шамилевского поприща.

Казалось бы, чего при тогдашних обстоятельствах и желать больше? Отчего бы такому Даниель-беку не давать хотя каждый год по звезде, если ему это нравилось, и не оказывать ему ничего, не стоящего любезного внимания? Однако нет, по какому-то весьма незначительному поводу (до истины мне никогда не удалось добраться, а толкований было много, и все различные) начались *пререкания* закатальского начальства с султаном, придирки, канцелярские грубости, отказы в пустых просьбах, донесения на него в Тифлис, оттуда внушения и угрозы, доведшие оскорбленного, самолюбивого и избалованного привычкой самовластия восточного владетельного деспота до бунта. Он поднял все свое владение, укрепился в ущелье впереди своей резиденции Илису, казнил бывшего при нем переводчиком чиновника из армян, которого подозревал в тайных против него сношениях с начальством, и сообщил начальнику линии генерал-майору Шварцу, что он отныне ни с ним, ни вообще с русскими властями ничего общего иметь не намерен и что всякую попытку принудить его к повиновению встретит с оружием в руках, надеясь на Аллаха, на свою правоту и на поддержку всех горцев...

Власти переполошились, поняли, что дело нешуточное, что пламя возмущения может мигом разлиться по всем мусульманским провинциям за Кавказом, и без того едва удерживавшим затаенную к нам вражду, особенно в то время, когда все войска с самим главным начальником края были далеко в горах Дагестана для действий против Шамиля, и решились принять энергичные меры. Обвинять за это, конечно, нельзя ввиду страшных последствий, какие могли произойти при замедлении, хотя, с другой стороны, ловко обставленная и умно проведенная попытка к примирению, минуя закатальское начальство, может быть, имела бы менее кровавые последствия.

В несколько дней перед возмущившимся султаном явился отряд, в который стянули, начиная от Тифлиса, все, что из войск могли собрать, и штурм, дружное «ура!», русская дисциплинированная храбрость победили нестройную, хотя и воинственно-ловкую толпу. Даниель-бек, заранее отославший семейство и все свое имущество в горы, едва успел спастись с несколькими приверженцами и явился покорным беглецом к Шамилю, которого до тех пор третировал с высокомерием.

Таким образом, грозившая в случае распространения возмущения опасность чисто военным способом была устранена, но зато печальным последствиям этого происшествия суждено было выразиться вскоре совершенно в другом виде.

Шамиль назначил местопребыванием Даниель-беку аул Ириб в одном из обществ соседних с Лезгинской кордонной линией, дал ему власть наиба (правителя) и поручил открыть против нас враждебные действия, размеры и успех которых должны были служить мериллом его приверженности делу мюридизма. С тех пор эта часть Закавказского края, дотоле спокойная и, как выше упомянуто, подвергавшаяся лишь мелким хищничествам, обратилась в новый кровавый театр военных действий, вызвала необходимость усиления военных средств, всяких денежных расходов и стоила многих жертв. Конечно, ни генерал Шварц, ни разные другие

военные люди об этом не жалели: для них настала пора военных реляций, громких подвигов, щедрых наград и других выгод, но с точки зрения выгод общих государственных и частных ближайшего народонаселения это было весьма печально... Мне, к сожалению, еще не раз придется упоминать о таких, не знаю как их и назвать, несчастных, преступных или неумышленно-безрассудных деяниях наших властей, имевших последствием, с одной стороны, тяжкие для государства и общей пользы жертвы, с другой – отличия, награды и военную славу...

Вследствие вышеописанного события заботы об «обеспечении наших пределов от вторжения непокорных горцев» (как выражались в официальных бумагах) усилились и выражались в более частых и быстрых сношениях начальства Лезгинской линии со всеми местными управлениями, в сборах милиций, в движениях в горы «для отвлечения неприятеля, для его устрашения, наказания» и прочем. Все это отозвалось и на Тушино-Пшаво-Хевсурском округе и все более и более втягивало меня в сферу военной деятельности, к которой я так давно, так искренно и напрасно стремился. Судьба!

В том же 1844 году, вскоре после измены и бегства илисуйского султана, уже явились опасения усиленных враждебных действий соседних горцев, и потому предписано было собрать из округа более тысячи человек конной и пешей милиции и расположиться с ней на левом берегу Алазани, на Алванском поле, для того чтобы быть готовыми спешить на помощь угрожаемому пункту и вместе с тем заставить горцев опасаться вторжения нашего к ним. Распоряжения для исполнения этого предписания должны были делаться, как и подобает в военном деле, с возможной быстротой. Поэтому окружной начальник кроме своих двух помощников, малограмотных грузинских князей, возложил часть дела и на меня, хотя моя специальность была собственно канцелярия. И вот я в первый раз очутился в роли распорядителя, отчасти начальствующего лица. Я был в восторге, энергию выказал блистательную, не жалел ни себя, ни лошади и скорее прочих явился на назначенное место с вооруженной толпой в несколько сотен человек, обращавшихся *ко мне* с просьбами, недоразумениями и прочим. Для двадцатилетнего юноши с пылкой фантазией это было каким-то торжеством: мне уже грезились битвы, геройские подвиги, слава, военные награды, целое море сильных ощущений... И ведь много, много раз еще повторялись в моей долголетней кавказской службе такие восторженные минуты, и с какой же улыбкой вспоминается о них теперь, когда седина пробилась в бороду, кровь плохо греет и вместо поэзии давно наступила пора равнодушия и критики!..

Вся собранная милиция расположилась на Алванском поле, среди живущих здесь зимой тушин (летом они откочевывают в горы), в ожидании дальнейших распоряжений. Стоянка эта дала мне некоторые первоначальные понятия о жителях округа. Резко отличающиеся друг от друга тушины, пшавы и хевсуры проводили все время в своих национальных воинственных забавах. Скачки, стрельба в цель, фехтование хевсур, вооруженных мечами и щитами, продолжались целые дни, ночью вокруг костров раздавались громкие и заунывные песни, пляски, напоминавшие диких индейцев Америки; все это так поражало меня своей новизной и оригинальностью, что я проводил целые часы, смотря на этих полудиких людей, о которых в России едва ли кто и слышал, и тогда же задался мыслью узнать и изучить их поближе, чтобы при случае познакомить с ними читающую часть общества.

Между тем прошло около двух недель, продовольствие, взятое милиционерами из своих домов, стало подходить к концу, всякие забавы стали надоедать; наконец, на несколько запросных донесений, получился приказ – распустить людей по домам. Мечтам о военных подвигах не суждено было пока осуществиться, однако я не унывал, запас надежды был еще слишком обилен, и так, вдруг, он не мог истощиться...

V.

Возвратившись с Алванского поля, я в первый раз присутствовал при сборе и давке винограда. Село Ахметы представляет целый лес виноградных садов, оно было необыкновенно оживленно, сотни рассеянных по садам работников, громко распевая, двигались постоянно взад и вперед: кто работал ножом, срезая кисти, кто накладывал их в большие плетеные корзины или ставил последние на арбы и отвозил в *марань* (строение, где давят и хранят вино), в которой несколько человек обнаженными до колен ногами давили виноград, и мутная струя сбегала по небольшим корытам в кувшины, врытые в землю. Величина некоторых кувшинов, большей частью выделяемых в Имеретии, почти баснословна: они вмещают до двух тысяч больших бутылок. Мне рассказывали по этому поводу будто бы достоверное происшествие: однажды в селе Кварели солдат линейного батальона забрался ночью в марань, открыл кувшин, лег на землю и начал пить вино, но, по-видимому, отуманенный газами, осунулся и *утонул в кувшине*, где на другое утро нашли его по плававшей на поверхности фуражке!..

Впрочем, в этом ничего удивительного нет, если принять в соображение, что когда кувшины перед напусканьем нового вина моют, то в них ставят лестницы, туда спускается человек с фонарем, как в погреб, и трет венником, а голос его раздается каким-то глухим подземным эхом. Для этой работы есть даже особые специалисты – жители Военно-Грузинской дороги, гудомакары, они же привозят с собой и шиферные плиты, употребляемые для накрывания кувшинов. Молодое вино (маджари) слабо, сладковато и мутно, но в феврале – марте оно уже окрепло, очистилось и бывает таких качеств, что не уступит многим прославленным европейским винам. Красное или почти черное гуще, крепче, а белое, почти померанцевого цвета, слабее, но с превосходным букетом соединяет прекрасный вкус. Достоинство этих вин – совершенная безвредность: сколько ни выпить – головной боли не чувствуешь, и грузины, пьющие невероятное количество вина, не слышали о подагре. Зато кахетинское вино не выдерживает долгого хранения и киснет, но вернее, что это происходит от дурной, патриархальной системы выделки. Большой частью вино развозится в бурдюках, смазанных внутри нефтью, почему и принимает не совсем приятный, вязущий вкус; в последнее время, однако, стало уже развиваться употребление бочек и бутылок, и в Тифлисе хорошее вино в продаже без нефтяного вкуса.

По окончании сбора винограда в Кахетии настает самое веселое время: князья начинают разъезжать друг к другу и, собираясь целыми париями, гостят по несколько дней у своих знакомых; к тому же времени устраиваются большей частью свадьбы, празднуемые с большой пышностью.

Мы с князем Челобаевым тоже сделали поездку через села Артаны и Шильды в Кварели, где была часть управления Лезгинской линией под начальством полковника Маркова, весьма благоволившего к моему начальнику. Здесь, устроив кое-какие свои служебные дела и отношения, мы пробыли несколько дней, пируя у князей Чавчавадзе поочередно. Принимали нас благодаря значению и родственным связям Челобаева везде отлично, и вся поездка, дней десять, была рядом кутежей, о которых трудно дать понятие тем, кто сам их не видел. И питье, и еда, и пение – все в размерах героев Илиады. На обратном пути в селе Лалискури мы заезжали к семейству одного незадолго перед тем убитого в Дагестане офицера, тоже князя Челобаева, и здесь мой начальник как дальний родственник покойного исполнил обряд «сожаления»: церемония заключалась в том, что, войдя в комнату, где на полу в черных одеждах сидели вдова и сестра покойного, Челобаев начал выражать сожаление о несчастье, постигшем не только родных, но и всю Грузию, потерявшую такого доблестного князя, а они тотчас пустились в слезы; он тоже, закрывшись на минутку шапкой, сделал вид, что плачет, затем советовал не предаваться отчаянию и прочее; слезы мгновенно осушились, вдова стала расспрашивать о

семействе, передавала поклоны, после чего Челокаев откланялся, и мы уехали. Этот, как и многие подобные ему обычаи, совершаются повсеместно на Кавказе с большим педантизмом.

К числу любимых развлечений кахетинских князей принадлежит ястребиная охота за фазанами. Ястреба ловятся особыми силками, к которым для приманки привязывают живую курицу. Попавшемуся ястребу *зашиивают* (буквально) глаза ниткой, на ноги надевают небольшие медные бубенчики, пришитые к кожаным ноговичкам, и сажают на руку; так охотник держит ястреба целую ночь, постоянно его поглаживая, посвистывая, чтобы приучить к звуку бубенцов и человеческого голоса; кормят его сырым моченым мясом и для пищеварения дают *проглатывать кусочек холста* (?). На третью ночь ястребу раскрывают глаза: сначала он боязливо оглядывается, срывается с руки, повисает на шнурках, опять садится на руку, затем успокоится; целый день не дают ему есть, сажают в нескольких шагах от себя, манят мясом, цмокают, присвистывают, пока он сам не прилетит на руку. Подобным образом он в неделю делается ручным и после, отлетев иногда на две версты, опять возвращается к хозяину.

Фазаны водятся вообще в колючих кустарниках, густых бурьянах, обилующих разными ягодами. В первый день охоты, лишь только ястреб поймает фазана, добычу отдают ему и прекращают охоту. На следующий день охота ведется уже как следует: князь верхом с ястребом на руке, несколько человек с легавыми собаками входят в чашу и разными криками, визжанием, лаем спугивают фазана; ястреб стрелой пускается за ним, и схваченный когтями бедняга падает наземь, где его подбегающие люди и отнимают у ястреба, большей частью живым; иногда же фазан, не настигнутый еще врагом, падает в кусты, куда ястреб, боящийся колючек и чащи, не смеет за ним забраться, тогда этот взбирается на ближайшее к месту дерево, не спуская своих острых глаз с жертвы, и начинает звенеть бубенцами, махать крыльями, пока обратит внимание охотников, которые тут же и вытащат омертвевшего от испуга фазана или же спугнут его, и в другой раз уже редко удается ему уйти от страшных когтей. Во время ястребиной охоты никогда не стреляют, считая это вредным для ястреба.

После целого ряда различных удовольствий в веселом обществе князей пора было возвратиться, наконец, и к делам. Я оставил Кахетию, облитую золотистыми лучами осеннего солнца, и только грозный ряд великанов, совершенно одетых в снег, напоминал, что существует зима, а приехав в Тионеты, застал совершенно русскую зиму: все было покрыто снегом, лед сковал почти до самой середины быструю Иору, скрипучие арбы заменились полозьями.

По приглашению одного из жителей я был у него на свадьбе. Невеста была привезена из Ахмет в сопровождении жениха и нескольких родственников, подкутивших порядком, стрельявших из ружей, распевавших всю дорогу во все горло и потчевавших всех встречных вином из бурдючков, привязанных у каждого за седлом. Из церкви после венчания жених и невеста шли рядом, держась за концы цветного платка; их окружали с восковыми свечами в руках, песни и стрельба не прекращались; у молодых были на головах венки, надетые в церкви при венчании. При входе в саклю их встретили родители, приглашая войти и занять места, но там, где должны были сесть молодые (по-грузински *мэпэ* и *дэдопали*, то есть царь и царица), лежал ничком какой-то мальчик и, несмотря на просьбы, брань, удары плетью, не хотел вставать, пока ему не дали денег и яблок, тогда он поднялся при громком смехе присутствовавших. То же, говорили, бывает и в спальне молодых: какая-нибудь служанка разляжется поперек кровати и без платы не встанет. Возле невесты уселась рядом старуха, обязанность коей состояла в том, чтобы весь вечер постоянно поправлять на молодой то покрывало, то платочек, то ленточку, хотя бы все было в отличном порядке, и по временам что-то нашептывать ей на ухо. Перед молодыми ставится поднос, на который все, подходя с поздравлениями, бросают деньги (у высших сословий в пользу прислуги). Невеста с опущенными глазами, как истукан, просиживала эти несколько часов без движения, без слов. Гости, усевшись на другой стороне, после благословения священника приступали к ужину, принимавшему под конец самый шумный характер: пение, крики, пальба из пистолетов, плясание лезгинки, пока не расходились или развозились

по домам. На другое утро, если все было благополучно и жених был весел, сходились гости, их угощали *полустаки* (тесто с медом и орехами), начинались поздравления, кутили настаивали, чтобы молодая вышла и непременно проплясала лезгинку. Если она была в силах это исполнить, ее расхваливали, пророчили мужу счастливое супружество. В случае же неблагоприятного окончания свадьбы, что случается, впрочем, весьма редко, полустаки не разносили, родственники расхаживали с унылым видом, а гости торопились пускаться в ход остроуты и сплетни.

Сам обряд венчания совершается так же, как вообще у православных, только при входе молодых в церковь у дверей дружки держат две скрещенные сабли, под которыми они должны пройти, те же сабли кладут молодым под ноги у наложия, и кто первый наступит на саблю, будет, по поверью, первенствовать в доме, а у кого из молодых прежде потухнет восковая свеча, тот прежде и умрет.

В январе 1845 года, после восемнадцати месяцев отсутствия, я собрался съездить в Тифлис, выбрав кратчайшую дорогу, о которой прежде вовсе не знал; оказалось, что по ней, конечно только верхом, не более каких-нибудь 75 верст, между тем как кругом через Телав до Тифлиса более 200. В Тифлисе я застал тьму *амбавий* по случаю назначения графа Воронцова наместником кавказским. Делались большие приготовления для его встречи; все как-то инстинктивно понимали, что нужно ожидать общих улучшений и разных перемен. Слава графа Михаила Семеновича как устроителя Одессы и Новороссийского края предшествовала ему и пронеслась по всем уголкам Кавказа².

Все эти восторги и толки не могли быть приятны старику Нейдгарту, и он поторопился выехать из края. Два года его главного управления Кавказом были рядом неудач, за которые трудно его обвинять. Не успел он приехать, как летом 1843 года Шамиль в течение короткого времени истребил в буквальном значении этого слова отборный батальон Апшеронского полка, следовавший в горы для подкрепления гарнизонов укреплений (спаслись два солдата, принесшие печальную весть), взял десять наших укреплений, перебил и наполовину полонил их гарнизоны, приобрел большой запас всяких снарядов и артиллерии, которой у него до того почти не было. Это были первые примеры взятия горцами наших укреплений и истребления целых частей. На восточном берегу Черного моря случались атаки укреплений, но они падали разве таким геройским образом, как Михайловское в 1840 году, которое было взорвано солдатом Архипом Осиповым вместе с проникнувшими в него горцами. А тут разом десять укреплений взято горцами, «этой ободранной аравой», которую побить считалось до тех времен делом само собой разумеющимся.

И ведь большинство гарнизонов защищались геройски и падали уже только за совершенным истощением сил, за недостатком патронов, продовольствия или воды (одно только маленькое укрепление Ахальчи, в котором было человек 40 гарнизона, сдано без выстрела прапорщиком Тифлисского егерского полка Залетовым, явившимся, как рассказывали, к Шамилю по форме, с рапортом, как являются к инспектирующему начальнику). Эти печальные события сильно подействовали на дух войск и решимость частных начальников, в большинстве отличившихся этим полезным в малой войне качеством. Выступивший было из Темир-Хан-

² В Тифлисе было тогда распространено рукописное описание обеда, данного графу Воронцову тузами Английского клуба в Петербурге по случаю его нового назначения. Между прочим, там приводилась речь известного инвалида-ветерана Скобелева, из которой я до сих пор еще помню следующие, приблизительно так сказанные слова: «Если бы я оставшимися у меня двумя пальцами единственной руки мог поднять пушку, то сделал бы ей на караул перед графом Михаилом Семеновичем, чтобы отдать честь славному сопернику великого Наполеона и не менее славному государственному мужу, устроителю Одессы» (Скобелев со своим Рязанским пехотным полком был в колонне Воронцова, выдержавшего бой против Наполеона под Краоном в 1814 году). Затем рассказывалось, что подавали трехаршинных (?) стерлядей и что обед стоил 10 тысяч рублей; кажется, еще сообщалось, что баллотировавшийся в то же время в члены клуба военный министр граф Чернышев был будто бы забаллотирован. А нужно сказать, что он с графом Воронцовым был не в приятных отношениях, видя в нем не раболепного подчиненного, каковыми были все остальные генералы (за исключением, конечно, Паскевича), а соперника и вообще слишком самостоятельного человека.

Шуры под командой генерала Гурко небольшой, но по тогдашним кавказским обстоятельствам считавшийся самостоятельным отряд из трех батальонов при четырех орудиях и сотни казаков на выручку осажденного горцами укрепления Гергебиль поднялся на высоты, с которых видно было едва еще державшееся укрепление и ободренное видом отряда решившееся даже на отчаянную, бесполезную вылазку; отряд простоял около суток и отступил, Гурко не решился спускаться в ущелье на выручку гибнущему гарнизону, опасаясь восстания жителей в своем тылу, что могло повести к его окончательному уничтожению и, во всяком случае, к всеобщему восстанию части туземцев, остававшихся еще хоть для вида покорными, а вместе с тем и к падению Темир-Хан-Шуры, в которой остались защитниками уже только вооруженные писари, музыканты, инвалиды... Может быть, человек более решительный, чем недавно прибывший на Кавказ Гурко, без всяких долгих рассуждений попытал бы счастья и, спустившись, атаковал бы горцев: в случае удачи он не только выручил бы осажденное укрепление, но спас бы весь Дагестан от всех последовавших катастроф и покрыл бы себя и свой отряд вполне заслуженной славой, но в случае неудачи, оставалось погибнуть вместе с остатками гарнизона, безо всякой надежды на помощь, и тогда общее восстание, падение Шуры, изгнание нас из большого Дагестанского района были бы неизбежны. Таким образом, благоразумие требовало отступления, и нельзя этого не одобрить. Но гораздо лучше было вовсе не идти, не показывать неприятелю своей слабости и своим осажденным товарищам такого малодушия. Это отступление отряда в виду гибнущего укрепления еще усилило упадок духа в войсках и навело решительное уныние на всех, считавших прежде за удовольствие встречу с неприятелем и об отступлении никогда не думавших. Горцы же, напротив, сделались самоуверенными, выросли, так сказать, в собственных глазах, доверие к Шамилю укрепилось, устранив последних скептиков, и надежды на полный успех, то есть изгнание русских с Кавказа, оживились...

Во всех этих событиях генерал Нейдгарт едва ли виноват; уж скорее, его предместник Головин, не принявший заранее никаких мер против возможности их осуществления, хотя ему годом ранее доносил и настойчиво требовал подкреплений начальствовавший в Темир-Хан-Шуре генерал-майор Клюки фон Клугенау. Затем, в 1844 году, в Петербурге убедились, что «оборонительная» система, введенная Чернышевым, никуда не годится, а нужны решительные действия, двинули на Кавказ целый пятый корпус и приказали Нейдгарту разгромить шамилевские орды. Но приказание, в самой сущности своей малоопределенное, в руках малознаемого с краем старого генерала, не решившегося взять на себя ответственность за потери людей без видимой пользы, вместо эффектного исполнения послужило новым фиаско не только для самого Нейдгарта, но и для всех войск. Огромный и редко на Кавказе виданный отряд – тысяч в 35, с массой артиллерии, с двумя корпусными командирами (Нейдгарт и Лидерс) и множеством генералов, съехавшихся за звездами со всех концов, простоял на Буртунайских высотах довольно долго, в виду Шамиля и его значительных полчищ тысяч в 12–15; оба стана разделял лесистый, глубокий Теренгульский овраг; у нас совещались, раздумывали, поедали дорого обошедшиеся казне запасы, а Шамиль устраивал своим толпам что-то вроде церемониальных маршей, как бы вызывая нас на ратоборство... Кончилось тем, что мы ушли... Как отразилось это на обоих противниках, понять легко всякому... Тогдашняя система, не допускавшая рассуждений, лишила способности инициативы даже высших генералов; не удивительно, что, приезжая прямо с плац-парадов, и лучшие из них каждый свой шаг хотели основывать на точном приказании свыше, на применении к взглядам тех, от кого зависело их «быть или не быть». К старым кавказцам, более решительным, самостоятельным, эти генералы и сам Петербург относились почти враждебно, и кавказские войска считались последними в России...

Однако я далеко уклонился в сторону от моих личных воспоминаний и вдаюсь в рассказы о делах, в которых я участником не был. О них должна подробно говорить история Кавказской войны или вообще специально этому предмету посвященные статьи, а так, в летучей заметке, ничего не скажешь ясного для незнакомых с кавказскими событиями читателей.

Итак, состоялось назначение графа Воронцова наместником Кавказа, главнокомандующим армией с правами, равными правам князя Паскевича в Варшаве. На всех перекрестках в Тифлисе только и речи было об этом, все слои общества ожидали для себя всего лучшего. Армяне – развития торговли и благосостояния, чиновники – высших окладов, новых штатов, местная аристократия – разных почетов и льгот, военные – усиленных военных действий и щедрых наград, дамы – блистательных балов и приемов у графини Воронцовой; одним словом, все без исключения были радостно настроены, и, как редкое исключение в нашем мире, в этот раз никто не ошибся, почти всем надеждам суждено было сбыться.

Проведя несколько дней в Тифлисе, показавшемся мне после гор, ущелий и аулов роскошной столицей, я поехал назад еще по иной, очень живописной дороге, ближайшей к Кахетии, через Мухровань и Гомборы – штабы артиллерии, и ночевал в кахетинском селении Руиспири, у поселившегося там немца из Кексгольма Ленца, занимавшегося выделкой из местного вина шампанского, бишофа и прочего. Известие о графе Воронцове и его очень обрадовало, он понял, что в известном покровителе всяких промышленных предприятий найдет поддержку и своему делу – и этот не ошибся. Хотя уже в сорок седьмом году холера поместила бедного Ленца в число своих жертв, однако он успел обратить внимание нового наместника на свое предприятие, и сын его чуть не до сих пор продолжает в Тифлисе торговлю, хотя ни *Bischof*, ни шампанское не создали нового вида торговли вином.

Приехав в Матаны, я застал свое начальство, по обыкновению, со множеством гостей и *сазандари* (странствующие музыканты) за шумным обедом. Весть о наместнике произвела необыкновенный эффект, и немедленно были осушены тосты за его здоровье, хотя из присутствовавших едва ли кто мог ясно дать отчет в причинах восторга – так уж, должно быть инстинктивно, большинство радовалось.

На другой день я уехал в Тионеты, где застал трех лезгин-дзарцев, шляющихся по всем грузинским деревням, восхищая народ своим искусством плясать на канате. И действительно, их можно смотреть даже после лучших европейских акробатов. Лезгин, парень лет 25, в своем обыкновенном костюме, в кошах (туфли с высокими железными каблуками), в которых трудно по комнате пройти без особенной привычки, взбирается на канат, натянутый туго на высоте двух-трех саженей; у него на голове кувшин с водой, на нем тарелка, на ней стакан, на стакане бутылка, к ногам привязаны два обнаженных кинжала, не картонные, а настоящие, отточенные, острием вверх, глаза завязаны платком – и в таком виде под звуки зурны и бубна он слегка подпрыгивает и делает телодвижения в такт без всякого шеста, без натирания подошвы мелом и вообще без всяких вспомогательных средств и мишурно-блестящей обстановки, усиливающих эффект подобных представлений наших штукарей. Представление в Тионетах происходило во дворе старой крепости, кругом толпа народа, за два часа удовольствия давали что кто хотел деньгами или провизией, и вознаграждение, во всяком случае, выходило жалкое. Весь багаж этой кочующей труппы укладывался на две лошаденки, и так они обходили деревни от Святой до Масленицы. Говорили, у лезгин почти большинство мальчишек занимаются изучением этого искусства. Они протягивают канат над рекой и упражняются, падая в воду, пока не выучатся как следует свободно ходить по канату. Рассказывали, что и Шамиль тоже в юности занимался подобной пляской на канате, но если это, как мне кажется, пустая выдумка, то, во всяком случае, достоверно, что Шамиль в молодости был одним из самых ловких между своими сверстниками. В 1859 году, когда мы возвращались после взятия Гуниба, в одном из аулов Аварии (название забыл) жители показывали князю Барятинскому огромный камень, обрывок скалы, через который Шамиль, будучи 15–16-летним учеником у местного муллы, в числе весьма немногих юношей перепрыгивал с необычайной ловкостью. По высоте камня нам просто не хотелось верить этому рассказу.

VI.

Тотчас с прибытием в Тифлис графа Воронцова в марте 1845 года разнеслись слухи, что летом будут предприняты решительные военные действия в небывалых до того размерах и что новый *сердарь* (главнокомандующий) одним ударом сокрушит Шамиля со всеми его ордами. В числе приготовлений к этому явились распоряжения о повсеместном в Грузии сборе милиции пешей и конной и вызове, кроме того, охотников принять участие в военных действиях из всех национальностей и сословии. Очень хотелось и мне воспользоваться этими вызовами и отправиться в качестве волонтера в предстоявшую экспедицию, но Челокаев наотрез отказал мне в этом или в противном случае предлагал оставить должность, на что я решиться не мог и потому все лето 1845 года, столь богатое в истории Кавказской войны эпизодами славных подвигов, сильных поражений, ужасных лишений и безвыходных положений, должен был провести в своем глухом округе. Впрочем, однообразие было прервано одним небольшим происшествием дико-воинственного характера.

Дело было так. Тушины, живущие зимой на левом берегу Алазани, в Кахетии, при наступлении жаркого времени, обыкновенно в половине июня, перекочевывают в свои горные аулы, в ущельях Главного хребта. В это время соседние лезгины, особенно дидойцы, вечно враждующие с тушинами, собираются партиями по дороге и нападают на перекочевывающих, не имеющих возможности хорошо защищаться на сильно пересеченной местности, обремененные притом семействами, вьюками и стадами. Чтоб обезопасить их путь и вместе с тем доставить для расположенного в передовых горах караула на лето провиант, Челокаев собрал человек 200 отборной милиции, и 5 июня мы отправились по ущелью реки Шторы на гору Накерали, лежащую посредине перехода в горную Тушетию. О трудностях подобного движения нелегко составить себе понятие. Сначала крутой подъем, весь изрытый водомоинами, поросший вековым лесом, не пропускающим солнечных лучей, далее узенькая тропинка меж голых скал, над крутыми глубокими обрывами, при этом густой туман, порывистый холодный ветер, бьющий в лицо какими-то ледяными крупинками, – озноб пробирает хуже лихорадочного. Все это в горах вовсе не редкость, даже в конце июня и в начале июля; случалось, что люди отмораживали себе в это время руки и ноги, и в том же 1845 году в отрядах несколько десятков грузинских милиционеров потеряли свои пальцы, а донские казаки, чтобы хоть немного согреть окоченевшие члены, должны были пожечь все свои пики, кстати, совершенно бесполезные в горах. Хорош и ночлег на верхушке такой горы, под буркой, в платье, напитавшемся, подобно губке, туманной сыростью, когда вдобавок льет дождь, и уже ни башлык, ни бурка не помогают: ручейки со всех сторон подмывают, ром не греет, оконечности коченеют. Кряхтя приходится подняться и, утешая друг друга разными остротами и шутками, поплясывать на расстоянии двух-трех шагов поровнее места, да поглядывать на жалких, конвульсивно трясущихся лошадей, да слушать оглушительные раскаты грома. Мне несколько раз приходилось проводить такие ночи, и всегда одна и та же причина была, что мы не на лучшем месте останавливались на ночлег: на пути являлись такие препятствия, движение совершалось так медленно – версты две с половиной в час, иногда менее одной версты, что пока мы достигали вершины перевала, уже темнело и двигаться дальше втемь по этим скользким тропинкам над обрывами значило рисковать всеми лошадьми, вещами да и не одним солдатом. Нечего делать, останавливались на верхушке, от семи до девяти тысяч футов над поверхностью моря, подвергаясь произволу самого пронзительного, резкого ветра; а некоторым, не успевшим достигнуть верхушки, приходилось простаивать до рассвета на узенькой тропинке, без возможности не только прилечь, но даже хоть маленьким движением согреться, рискуя поминутно поскользнуться и очутиться на 200–300 сажень в бездне. Это положение еще хуже, чем стоянка на вершине, и отряды на Лезгинской линии, чаще всех испытывавшие такие удовольствия, особенно бата-

льоны, часто бывавшие в арьергарде, могли бы многое порассказать, чтобы вполне изобразить, какова была служба кавказских войск вообще, а действовавших в горах в особенности. Вот в таком положении провели и мы ночь на горе Накерали 7 июня 1845 года, да еще вынуждены были оставаться тут до четырех часов пополудни, чтобы выждать приближения отставших и растянувшихся кочевников, которые могли подвергнуться нападению и быть лишены всякой с нашей стороны поддержки. Наконец, ливень перестал, ветер носил целые массы облаков по ребрам скал, то вдруг застилая от нас все, то вдруг открывая огромные пространства; подчас слышался какой-то отдаленный, глухой грохот – это гремело *под нами*, в ущельях, в Кахетии. Мы тронулись, таща за поводья едва переставлявших ноги лошадей, спустились версты четыре ниже на поляну, поросшую густой травой, и расположились ночевать. С левой стороны у нас к обрыву тощая растительность в виде нескольких корявых берез и дубнячка, куда мы тотчас и отправили людей нарубить веток, чтобы скорее достичь блаженства посушиться у огня да вскипятить воды в медном чайничке и согреться стаканом чая. Не прошло нескольких минут, посланные прибежали сказать, что внизу, под обрывом виден значительный дым, что это, без сомнения, неприятельская партия, расположившаяся на ночлег, и что они не рубили дров, чтобы стуком не обратить на себя внимания. После нескольких минут совещания с опытными тушинскими старшинами решено было, не теряя времени, пользоваться оставшимися еще двумя часами дня и врасплох напасть на неприятеля, который не может быть в значительном числе, а неожиданность и быстрота в нападении самые лучшие союзники. Выбрав человек до пятидесяти лучших людей, мы пустились вниз без дороги, поддерживая друг друга, цепляясь за березки и бурьяны, в направлении виденного дыма; туман содействовал нам, скрывая наше движение, и мы незаметно добрались до низа; место оказалось вроде маленького ущельища, поросшего редколесьем, известного тушинским охотникам под названием Чхатани, из коего тропинкой можно были выйти на выючную дорогу, проходящую в Кахетии. Не более пятидесяти саженей от нас сидели два караульных лезгина, занятые разговором; шагах в ста за ними виднелись несколько наскоро сложенных из ветвей балаганов, в которых человек около ста горцев расположились, как видно было, ночевать: кто спал, кто чистил оружие, кто сушил у разведенных костров одежду. Осмотрев все подробно, мы решились воспользоваться беспечностью партии и нечаянностью нападения скрыть нашу малочисленность. Пройдя незаметно еще саженей двадцать, тушины первыми выстрелами отправили двух караульных к праотцам, затем с криком «ги!», как-то особенно пронзительно прозвучавшим в ущелье, бросились вперед, дали залп в смешавшихся и оторопевших лезгин и выхватили сабли... Несчастные горцы, не успев захватить даже всего своего оружия, бросились бежать в разных направлениях, а крики «ги!», одиночные выстрелы преследующих тушин за ними.

В первый раз пришлось мне быть в подобной встрече и видеть неприятную картину насильственной смерти, видеть людей, бросающихся друг на друга, подобно диким зверям, издающих крики тоже нечеловеческие, видеть, как один конвульсивно умирает под ударами сабли; другой отмахивается огромным кинжалом от нападавшего тушина, отступая и стараясь добраться до леса; третий борется с противником, кусая в бешенстве его лицо, а у самого из раны кровь льет ручьем; еще один, не видя возможности уйти, останавливается, прицеливается из ружья, верно незаряженного, задерживает тем преследующего, но вдруг сбоку раздаётся выстрел, и он, как сноп, валится с каким-то ужасающим стоном...

Смерклось. Изредка раздавались еще вдали выстрелы и гик. Люди начали собираться к лезгинским балаганам, где мы за наступившей темнотой остались ночевать. Четырнадцать трупов валялись кругом; много оружия, бурок, *гуды* (кожаные мешки) с сыром, курдюком (бараний жир), оленьей колбасой да несколько ременных арканов, на которых лезгины уводят пленных, были нашей добычей... Поутру мы возвратились к своим на гору, встреченные выстрелами и поздравлениями. 14 кистей правых рук убитых неприятелей были отрезаны и воткнуты на палки... Таков исконный горский обычай.

Вспоминая теперь об этом первом кровавом происшествии, в которое я попал, мне кажется естественным анализировать те ощущения, какие я при этом испытывал. К стыду своему должен признаться, что ощущения были самого кровожадного свойства... С обнаженной пашкой в руке я бежал с другими, думая только о возможности догнать, рубануть... За что, почему, что сделали мне эти жалкие дикари?.. Вот, подите ж, такова труднообъяснимая сила минутных впечатлений, всех этих выстрелов, гиков, этих кровавых сцен! И ведь сколько раз мне после приходилось бывать в так называемых «делах», то есть драках, опять то же кровожадное чувство всплывало наверх, опять забывались все рассуждения... Да и не я один; почти без исключения все попавшие в эту сферу подвергались тем же влияниям каких-то зверских инстинктов. Как разрешить такое противоречие в душевных движениях человека? Ведь в обыкновенное время я никогда не мог видеть без сожаления, даже без особого нервного содрогания страданий больного, искалеченного человека, даже животного, а тут вдруг вид покотившегося подстреленного человека или изрубленного черепа как будто доставлял особое удовольствие, да еще хуже, возбуждал сильное желание самолично произвести такую же операцию... Это труднообъяснимое чувство играет немаловажную роль во всех войнах, когда приходится удивляться, как это десятки тысяч людей убивают и калечат друг друга без всякого личного к тому повода, большей частью без ясного понимания причин войны и с искусственно-возбужденной враждебностью к противнику. Один мой знакомый, когда зашел разговор о любви к ближнему, выразился, что это на словах очень хорошо выходит, а на деле как будто сама природа отметила это неудобноисполнимым, несоответствующим свойствам живых существ. «Вот посмотрите, – продолжал он, – встретились две собаки, обнюхались, сейчас лезут кусаться, так, без всякой причины; вот кучка воробьев – только и делают, дерутся да щиплют друг дружку за перья; вон два петуха уже надуваются, готовятся впиться друг в друга; вот встретились двое верховых, их жеребцы уже завизжали, уже собираются грызнуть и лягнуть друг друга. Почему это у всех животных такая инстинктивная взаимная вражда? Почему большинство людей завистливы, друг другу не верят, и вообще, брось им кость – что твои собаки!» При всем цинизме такого замечания, доля правды в нем все-таки есть...

Когда подошли все тушинские караваны, мы проводили их до более открытых, безопасных мест и отправились тем же путем обратно. Проезжая через кахетинские деревни с наткнувшими на палки кровавыми трофеями, тушины делали выстрелы, пели хором свои дикие песни и гордо кивали головами на искренние приветствия грузин, очень радовавшихся поражению исконных своих врагов.

По возвращении в Тионеты я впервые заболел лихорадкой, должно быть последствие ночлега на Накерали, и мучила она меня несколько месяцев. При отсутствии в округе медика я лечился сам, принимая в больших пропорциях хинин. Тогда молодость успешно боролась с болезнью, и следующие за пароксизмами дни я чувствовал себя почти здоровым, так что разъезжал по чертовским дорогам горной Пшавии, промокал до костей в проливные дожди, согревался и высушивал на себе платье, делая переходы верхом и пешком по горам, удивлявшие самих горцев. Впоследствии еще не раз мучила меня лихорадка и гораздо упорнее, невзирая на помощь медиков и лучшую обстановку – лета, значит, брали свое, организм уже не выносил того, что на двадцать первом году от роду.

От тоски одиночества и вообще страсти к переменам я пользовался малейшим предлогом и почти непрерывно разъезжал, особенно в ближайшую к Тионетам Пшавию, по ущельям истоков Иоры и Арагвы. Повсюду голые скалы да горы, изредка поросшие мелким кустарником; деревни висят, как гнезда, над крутыми обрывами; сакли, сложенные из плитняка, без извести и глины, построены ярусами, одна на другой, у большинства – башни с бойницами. Природа дика, растительности мало, клочки запаханной земли, в виде шахмат, разбросаны по крутизнам. На склонах гор, поросших сочной травой, пасутся большие стада овец и рогатого скота. Народ дик, грязен, неуклюж; пьянство развито сильно и не редкость видеть пьяных до

безобразия, напоминающих наши кабаки; у хевсур, а особенно у тушин, я ничего подобного не встречал. Зато пшавы добродушнее и трудолюбивее, многие из них очень богаты, имеют по несколько тысяч баранов, много скота, лошадей и катеров (мул), да и серебряных рублей, зарытых в землю, у них, по слухам, количество немалое. Мне попадались там нередко рубли, очевидно, долго пролежавшие в какой-нибудь яме, позеленелые и почернелые. Между тем по грязному виду и образу жизни пшавов следовало бы считать нищими дикарями.

О бывшей в июне месяце стычке нашей с лезгинами мы по обыкновению донесли начальству Лезгинской линии. Оно выразило свое удовольствие и предоставило войти с представлением к наградам нескольких человек, более других отличившихся. Челокаев хотел поместить в представлении и меня, но к какой награде представить – становилось вопросом действительно затруднительным: *гражданский* чиновник, не имеющий еще чина, оказывающий *военное* отличие? Он послал письмо к полковнику Маркову, спрашивая, нельзя ли меня представить к производству в прапорщики, хотя бы по милиции, что впоследствии, при новом отличии, дало бы возможность ходатайствовать о переименовании в офицеры регулярных войск. Ответ был получен благосклонный, хотя г-н Марков выражал сомнение в успехе подобного, еще никогда не бывавшего награждения гражданского чиновника военным чином; он при этом в виде шутки прибавил, что лучше бы было присоединить к моей фамилии частицу «дзе», дать ей этим вид фамилии грузинской (вроде Абашидзе, Бакрадзе и прочее), что устранило бы всякие препятствия к производству, так как туземцев сплошь и рядом производили в офицеры милиции за военные отличия, хотя бы они собственно на действительной службе никогда не состояли. Шутка начальства показалась нам очень забавной, и представление, конечно без «дзе», ушло с большими надеждами для меня, уже мечтавшего об эполетах и об эффекте, какой произведет это на родине и в Тифлисе между товарищами по канцелярской службе; дальше фантазия разыгрывалась уже до недостижимой высоты, до шляпы с белым султаном, чего доброго, даже до аксельбантов... Ведь это было более тридцати трех лет тому назад!

Вскоре после этого приезжал в Тионеты Генерального штаба подполковник барон Вревский, которому генерала Шварц, кажется, вообще хотел оказать особое внимание как человеку с большими связями, а потому дал поручение осмотреть все протяжение линии, ознакомиться с местностью и прочим ввиду могущей представиться ему здесь особой деятельности. Челокаев встретил гостя самым угодливым образом, из Тионет повез к себе в Матаны, пригласил в крестные отцы недавно родившейся у него девочки; угощениям и любезностям не было конца, так что Вревский уехал вполне очарованным. Искусство, называемое «замазать глаза», на Руси вообще, а на Кавказе в особенности, было усовершенствовано донельзя... Упоминаю об этом приезде барона Вревского не потому, чтобы считал это чем-нибудь интересным, а потому что этому первому знакомству с ним суждено было возобновиться более близким образом при совершенно других условиях десять лет спустя, о чем придется мне рассказывать еще немало.

Из времени, следовавшего за этим в течение почти года, я не могу ничего такого вспомнить, что бы выходило из ряда ежедневных, будничных событий и заслуживало бы упоминания. Канцелярские занятия, чтение, изучение грузинского языка и грамоты, разъезды, просиживания у дымных очагов в длинные зимние вечера со стариками из туземцев, слушая их рассказы о последних временах грузинских царей, о первых годах русского владычества и т. п. – вот в главных чертах картины того образа жизни, какую я вел в одном из заброшенных углов далекого края. Любимое развлечение, которое я по несколько раз в неделю себе доставлял, была ловля форели сетью, ловко закидываемой многими тионетцами, и в особенности служившим у меня Давыдом Гвиния Швили, начавшим со звания конюха и в течение десяти лет, проведенных со мной, прошедшим все степени отличия до чина прапорщика милиции включительно. Вот, бывало, выйдем за ворота старой крепости: Давыд с сетью, другой человек с переметной сумкой, в которой бурдючок кахетинского вина да хлеб, соль, кастрюлька; отойдя версты три-четыре по усеянному мелким булыжником берегу, мы наломаем сучьев,

разведем огонь, животрепещущую форель в кастрюльку с соленой водой и, усевшись с поджатыми ногами на землю, невзирая иногда на несколько градусов мороза с ветром, изрядно тянущим по ущелью, совершим такую трапезу и выпивку, что никакой *table d'hôte* в лучшем европейском ресторане не казался мне таким вкусным. Движение, свежий воздух, вкуснейшая рыба, сваренная совершенно просто в крепко соленой воде, несколько бараньих шашлыков, тут же на палочке поджаренных, отличное вино да особое умение грузин приохотить к еде и питью то остротой, то замысловатым тостом и т. д. – все это при отличном аппетите такой вкус придавало этому незатейливому завтраку, что проведя за ним часика два с неподдельным весельем и удовольствием, мы возвращались домой в отличнейшем расположении духа и с большой склонностью соснуть. Десятки лет прошли с того времени, а все еще с особенным удовольствием вспоминаются такие незначительные, чисто местного колорита эпизоды, и как хотелось бы перенестись хотя на несколько дней опять туда, на Иору, на ловлю форелей, побыть с этими простыми добряками, во многом напоминающими еще людей времен пастушеских, патриархальных!

VII.

В феврале или начале марта 1845 года на левом фланге лезгинской линии случилось происшествие, в сущности не выходящее вообще из ряда свойственных в свое время Кавказу происшествий, но все же настолько непредвиденное, дерзкое и кровавое, что переполошило и власти, и население Кахетии. Село Кварели, одно из самых больших за Алазанью, как я уже упоминал, служило местопребыванием начальника левого фланга полковника Маркова, помещавшегося в укреплении, возведенном в конце деревни, у входа в горное ущелье и занятом линейным батальоном. В Кварели же имел местопребывание и участковый заседатель (становой пристав) со своей канцелярией. Человек шестьсот лезгин ближайшего общества Дидо под предводительством одного из своих вожаков, часто бывавшего в Кахетии, хорошо знакомого с местностью и грузинским языком, перевалились через главный хребет и в сумерки совершенно неожиданно появились в Кварели. Никому в голову не могло прийти, чтобы в это время года, при глубоких снегах, покрывавших горы, кто-нибудь из горцев решился спуститься в Кахетию, и потому, понятно, никаких мер предосторожности не было принято; горцы прошли чуть не половину деревни совершенно свободно, пока не наткнулись на возвращавшихся откуда-то домой двух-трех жителей, изумленных движением такой значительной толпы вооруженных людей; распознав по костюму лезгин, они сделали несколько выстрелов и побежали назад к дому участкового заседателя, где и подняли тревогу. Горцы бегом вслед за ними ворвались туда же. Заседатель Дадаев с женой, своим переводчиком из армян Сукиясовым и двумя-тремя рассыльными из грузин успели наскоро запереть и завалить кое-чем двери в свои комнаты и решились защищаться. Нападающие, изрубив между тем несколько встреченных во дворе и выбежавших на выстрелы человек, приступили к ставням и дверям дома, занятого Дадаевым; плохие затворки не могли долго выдержать, и лезгины ворвались в комнаты. Дадаев с рассыльными встретили их кинжалами, защищались отчаянно и пали, дорого продав свою жизнь; жена Дадаева в испуге спряталась за вешалку с платьями, но ее нашли, и один лезгин стал торопливо сдирать с пальцев ее бриллиантовые кольца, когда же это не удалось, он, недолго думая, отрубил ей всю руку и бросил омертвевшую женщину на пол; переводчик Сукиясов, струсивший ужасно в самом начале появления горцев, взобрался на какое-то возвышение вроде полки, устроенное в одной из комнат, но его заметили, стащили на пол и ударом кинжала разрубили голову, отчего он и упал замертво; лезгин, по своему обычаю, отрубил ему кисть руки, но вдруг заметил, что ошибся – кисть была левая, тогда он вернулся и отрубил правую... Между тем тревога распространилась по всему селению, дошла до укрепления, откуда была послана рота солдат; раздавшийся звук барабана заставил горцев торопиться, они заиграли в свою зурну для

сбора рассеявшихся по ближайшим саклям на грабеж товарищей и двинулись обратно; пленных в этот раз они не брали, потому что они могли их задерживать при быстром отступлении и едва ли смогли бы перебраться по снегам через горы. Прибывшая рота успела захватить еще хвост неприятельской партии, переколола несколько человек, но преследовать в темноте столь значительную партию не могла решиться, и горцы благополучно убралась восвояси. Кроме Дадаева и рассыльных погибли еще десятка два человек, жена Дадаева осталась жива, но помещалась, а злополучный Сукиясов, благодаря молодости и крепкой натуре, выздоровел, и я его впоследствии видел в Телаве квартальным надзирателем, с приделанными к обеим рукам перчатками, туго набитыми шерстью...

Происшествие это вызвало немало предписаний и распоряжений о принятии надлежащих мер, учреждении бдительных караулов и прочем.

Между тем о разных важных событиях, происходивших на Кавказе со времени основания наместничества и прибытия графа Воронцова, ко мне доносились разными путями слухи, по обыкновению часто противоречившие друг другу. Впоследствии кое-что стали мы узнавать из начавшей с 1846 года издаваться газеты «Кавказ».

К сожалению, первые шаги графа Воронцова в Кавказском крае были печального свойства, и не будь это именно граф М. С. Воронцов, пользовавшийся полным доверием государя, его постигла бы, без сомнения, участь Нейдгарта. Большая военная экспедиция под личным начальством графа, имевшая целью одним ударом порешить с Шамилем, окончилась, невзирая на огромные средства, полным нашим поражением... Взятием чеченского аула Дарго, в котором жил Шамиль, думали с нашей стороны достигнуть покорения всего подвластного ему пространства, вероятно, по тому примеру, как Наполеон со взятием Вены и Берлина предписывал по своему усмотрению условия Австрии и Пруссии. Но если так, то почему же забыли о Москве, взятие которой послужило поводом противоположных для Наполеона результатов? А главное, как не подумали, что какой-нибудь чеченский аулишка вроде Дарго с несколькими десятками хижин даже для нищих чеченцев никакого особого значения иметь не может и что Шамилю при его ограниченных требованиях хоть каждую неделю переменять резиденцию особого затруднения не составит? К довершению бедствия это непереносимое желание овладеть шамилевской «столицей» завлекло войска в глубь тех самых Ичкеринских лесов, которые в 1842 году так кроваво проводили отряд генерала Граббе, и новые батальоны подверглись не лучшей участи... Были минуты, когда боялись за жизнь, еще хуже – за свободу самого главнокомандующего!..

Понеся огромные для Кавказской войны потери до 4000 человек, отряд, наконец, прошел кое-как часть дремучего леса и очутился на поляне Шаухал-берды в самом отчаянном положении, лишенный возможности дальше отступать, за неимением ни продовольствия, ни средств поднять раненых и больных, невзирая на то что все тяжести, начиная с графского багажа, были сожжены и лошади отданы под раненых; окруженный толпами торжествующих чеченцев, без хлеба, без воды, с весьма небольшим остатком патронов и снарядов, оберегаемых для крайнего случая, отряд был вообще в безвыходном положении³. Какой-то смельчак, из юнкеров кажется, успел пробраться сквозь усеянные неприятелем леса на нашу линию и доставил запяточку генералу Фрейтагу в крепость Грозную; этот, схватив с покосов и разных гарнизонов все, что можно было найти под рукой, кажется три-четыре батальона с несколькими орудиями, поспешил на выручку. Опоздай он одним-двумя днями, может быть, уже и выручать бы нечего было... Правдивое, подробное описание этого похода, без сомнения, когда-нибудь появится и будет весьма назидательно. Я расскажу здесь вкратце только один из самых кровавых эпизодов, подробно мне известный из официальных и частных документов и по рассказам участников, совершенно различных по своему положению, заслуживающих, однако, полной веры. Дело в

³ В этом отряде находился и принц Александр Гессенский.

том, что отряд после продолжительной стоянки в Анди с истощившимися уже запасами продовольствия двинулся в Дарго, рассчитывая на скорый подвоз сухарей из Дагестана. После взятия Дарго, движение к которому стоило немалых жертв, войска очутились в местности, окруженной большими лесами, что в летнее время составляло для нас всегда самую главную опасность, так как мы имели дело с ловким неприятелем, свывшимся с лесом, как рыба с водой. Ввиду значительных скопищ горцев, наполнявших леса, следовало избрать другой путь отступления и рассчитывать на трудное, опасное же, весьма медленное движение, сопряженное с беспрепятственным боем и преодолением природных и искусственных преград, и потому нужно было обеспечить себя продовольствием на несколько лишних дней. Решено было отправить колонну для принятия провианта от имевшего доставить продовольствие дагестанского отряда, который должен был остановиться на безлесной высоте, над крутым гребнем, по которому спускалась дорога к Дарго. Колонна была составлена весьма неудачно, именно: от всех батальонов и команд часть людей, составивших сводные батальоны и роты. Сделано это было с тем, чтобы каждый солдат принес сухарей для себя и своего оставшегося в Дарго товарища, но это повело к тому, что эти, так сказать, на живую нитку сшитые части лишены были главного достоинства тактических единиц: офицеры, фельдфебели, капралы и солдаты не знали друг друга, нравственной связи у них не было никакой. Назначенный командовать этой колонной старый кавказский боевой генерал Клюки фон Кругенау, сознавая всю опасность предстоявшего ему движения с такими сводными батальонами, наполовину из недавно прибывших на Кавказ полков Пятого корпуса, не обстрелянных и не знакомых с особенностями Кавказской войны, при значительном числе вьючных лошадей, затрудняющих свободный марш в горных лесных труппах, объяснил начальнику штаба генералу Гурко все это и просил изменить состав колонны, но требование его было отклонено, потому будто бы, что главнокомандующий сам так приказал, что противоречие будет ему неприятно (?) и что, наконец, теперь уже поздно изменять все сделанные распоряжения, когда колонна рано утром должна выступить. Кругенау, конечно, оставалось повиноваться, и на другое утро, 10 июля 1845 года, он выступил из Дарго.

Все протяжении по лесистому, с обеих сторон обрывистому гребню было занято неприятелем, устроившим во многих местах из срубленных деревьев завалы. Войска наши в этот день, не обремененные тяжелой ношей и с порожними лошадьми, были подвижнее и потому хоть и со значительной потерей, однако двигались вперед, штурмуя завалы и отбиваясь от назойливых горцев. Авангард колонны под начальством приобретшего славу храбреца генерал-майора Пассека брал завалы один за другим, но Пассек по натуре своей увлекался вперед, не заботясь о следовавших за ним... Таким образом, в значительные оставшиеся промежутки врывался только что выбитый неприятель, опять заваливая тропинку деревьями, и главной колонне снова приходилось делать то, что уже сделано было авангардом – очевидно, напрасная двойная потеря людей и времени. Наконец, поздно вечером до крайности утомленные, со множеством раненых, бросив несколько сотен убитых и без вести погибших в лесной чаще людей (в том числе начальника арьергарда генерал-майора Викторова), добрались войска генерала Клюки до высоты, на которой застали отряд князя Бебутова, пришедший с провиантом. Всю ночь вместо отдыха несчастные люди должны были сдавать раненых, принимать продовольствие, разбирать сухари по ранцам, готовить вьюки и прочее.

Неприятель тоже не отдыхал. Подкрепленный новыми секурсами, ободренный успехом и видом рассеянных по лесу русских трупов, он всю ночь устраивал новые завалы и готовился ко вторичной кровавой встрече.

Наутро 11 июля, сделав несколько условных пушечных выстрелов, чтобы дать знать в Дарго о своем выступлении, колонна двинулась обратно по той же адской, накануне упитанной кровью тропинке... В этот раз утомленные, тяжело навьюченные лошади и люди, очевидно, уже не могли так свободно двигаться. Генерал Пассек опять пошел в авангарде. При всем моем уважении к памяти генерала Клюки я, однако, нахожу в этом случай с его стороны непроститель-

ную слабость: вероятно, не желая уязвлять самолюбие своего приятеля, он, испытав уже накануне последствия легкомысленно храброго увлечения Пассека, опять поручил ему авангард. Дело было слишком серьезно, чтобы думать о чем бы то ни было самолюбии. Даже напротив, на этот раз следовало в авангард послать возможно менее заносчиво-храброго человека, нужен был хладнокровно-распорядительный, стойкий человек, не забывающий отданных ему приказаний; увлекающегося же Пассека следовало оставить в арьергарде, где его беззаветная удаля принесла бы огромную пользу, а для увлечения не было бы места. В этот день повторилась та же история: Пассек, выбивая горцев из одного завала, бежал к другому; дружные штурмы, молодецкие удары в штыки, одним словом – вперед да вперед. Кончилось тем, что он удалился от колонны на несколько верст, и в одной труппе залп из нескольких сотен винтовок скошил и Пассека, и многих офицеров, и множество солдат, и лошадей под орудиями; чеченцы воспользовались минутой неизбежного замешательства, выхватили шашки и бросились на добычу... Авангард был истреблен, пушки сброшены в кручу... Что произошло дальше с главной колонной, поражаемой с боков, спереди, смешавшейся в одну нестройную кучу выючных лошадей, погонщиков, милиционеров, раненых, обезумевших от панического страха солдат, всякий, понюхавший пороху, может себе представить. Генерал Клюки, потерявший убитыми всех своих адъютантов, ординарцев и вестовых, пересаживался с одной убитой лошади на другую, бросался во все стороны, чтобы устроить хоть какой-нибудь порядок, приказывал солдатам, наконец, употребить штыки против смешавшейся, столпившейся кучи милиционеров, препятствовавшей выдвинуть хоть какую-нибудь сохранившую порядок роту... Надо отдать ему полную справедливость: не потерять в таком случае присутствия духа мог только поистине человек с сильной волей, натеревший в Кавказской войне. Положение было отчаянное, можно было ожидать совершенной гибели всей колонны, а между тем обещанная накануне при выступлении из Дарго высылка подкрепления навстречу не появлялась; в довершение пошел проливной дождь, и глинистая почва мгновенно превратилась в густую непролазную грязь, окончательно затруднившую хоть бы медленное движение, а люди и лошади между тем валялись десятками, создав из себя самих завалы... Наконец, остатки колонны стали стягиваться к небольшой площадке, на которой генерал Клюки надеялся устроить хоть кое-какой порядок; в это время появился высланный навстречу батальон храбрых кабардинцев с майором Тиммерманом, которого генерал Клюки тотчас и послал отогнать по возможности неприятеля с боков и облегчить движение остатков арьергарда... Поздней ночью несчастные уцелевшие кучки отряда генерала Клюки прибыли в Дарго, потеряв двух генералов, трех штаб-офицеров, 33 обер-офицеров и 1500 человек; провианта же доставили очень немного, он остался в лесу...

Таков был этот эпизод Даргинского похода, названный солдатами «сухарной экспедицией».

Какое впечатление произвел исход всей большой экспедиции 1845 года на наши войска, на преданное нам христианское население Закавказья и на враждебное мусульманское, может себе всякий представить. О торжестве Шамиля и горцев нечего и говорить. Таким образом, повторяю, не будь это граф Воронцов, пользовавшийся большим доверием и уважением государя Николая Павловича и стоявший выше влияния интриг даже могущественного Чернышева, вероятно, с окончанием экспедиции окончилась бы и его кавказская карьера. В этот же раз вышло совсем противное. Во-первых, весь план действий 1845 года и даже подробности исполнения были составлены в Петербурге и с назначением графа Воронцова на Кавказ переданы ему готовыми для руководства; во-вторых, когда Воронцов, как говорят, возразил, что не лучше ли отложить все дело на год, чтобы дать ему возможность самому ознакомиться со всеми местными обстоятельствами и тогда уже сказать свое мнение, то ему ответили, что откладывать нельзя, что теперь на Кавказе весь Пятый пехотный корпус, присутствием коего и следует воспользоваться, оставлять же корпус еще долее на Кавказе невозможно, что это слишком дорого стоит, наконец, все уже приготовлено, и потому его величество желает, чтобы предположенная

экспедиция была выполнена. Одним словом, видно, что государь был твердо убежден и в безошибочности самого плана, и в невозможности борьбы каких-нибудь нестройных горских полчищ против наших полков, к тому же вся эта масса войска сосредоточивалась в руках такого генерала, как граф Воронцов, который с успехом выдерживал бой против самого Наполеона (в 1814 году под Краоном). О таких отношениях графа Воронцова к предпринятому походу толковали во всех слоях кавказского общества, и не верить этому нет оснований; да и совершенно естественно, что еще за несколько месяцев до своего назначения находившийся в Одессе граф не мог не только принять участие в составлении предположений, но и сказать что-нибудь за или против них; ему пришлось просто повиноваться требованию государя и взяться за дело, в исходе которого, быть может, он сам сомневался. Вдобавок ближайшим помощником графа был генерал Гурко, хотя уже прослуживший на Кавказе два года, но все еще мало знакомый и с краем, и с духом местного населения, и со своеобразностью Кавказской войны. Следовательно, и за печальный результат обвинять графа Воронцова не было никакой возможности. Таким образом, его не только оставили на Кавказе, но доверие к нему должно было усилиться, и ему предоставили на будущее время совершенную свободу действий. Сам же граф Воронцов, наученный печальным опытом своего похода в Дарго, что таким способом на Кавказе ничего не сделаешь, перешел к другой системе действий против горцев. Эту систему можно назвать системой *топора*, как прежняя была системой *штыка*. Она состояла в том, чтобы рубить в лесах неприятельской земли широкие просеки, дающие возможность свободно двигаться войскам, и по мере занятия ими позиций в тылу заселять отнятые у горцев земли казачьими станциями. Мысль эта была, впрочем, не совсем новая, она возникла еще при А. П. Ермолове и особенно подробно и наглядно развивалась его начальником штаба генералом Вельяминовым, но в те времена недостаток средств ограничил ее применение некоторыми небольшими попытками. Теперь же, более совершенно развитая, система эта, поддержанная щедрыми материальными средствами, в течение 10–12 лет энергически выполняемая, перейдя напоследок в еще более энергичные руки князя Бяратинского, имела результатом падения упорного Шамиля, боровшегося двадцать пять лет с такой державой, которая казалась грозой целой Европе! Итак, кровавый урок, данный нам в Даргинскую экспедицию, пропал недаром.

Что касается гражданской деятельности графа, то противоречивым слухам и толкам не было конца. Очень много заставил о себе говорить на первых порах *желтый ящик*, прибитый к стене у парадного подъезда наместнического дворца, с лаконической надписью «Для писем и прошений». Очевидно, что когда для подачи прошений были раз и навсегда назначены два дня в неделю и доступ к наместнику был вообще очень легок, то подобный ящик становился излишним нововведением; большинство очень хорошо поняло, что настоящая суть этой меры – привлечь такие письма и прошения, которые редко лично и даже по почте подаются, попросту сказать – доносы... И посыпались они сначала таки изрядно, и многие возымели свои действия, отозвавшись отрешениями, следствиями, судом. Но дальше приманка стала терять свое значение, в ящик бросались всякие дрязги, пошлости, даже пасквилы, не щадившие и некоторых приближенных к графу лиц, между которыми были весьма нелюбимые и, по народной молве, пользовавшиеся своим влиянием для целей не совсем безупречных.

Конец *желтого ящика* был тот, что и снять его не хотели, чтобы не сознаться в неловкости этой меры, и опораживать его стало даже неловко... Впоследствии посылались дежурный по канцелярии чиновник, который забирал оттуда бумаги и передавал их директору, а он обыкновенные просьбы или жалобы отсылал в подлежащие ведомства, прочие же уничтожались. Исчез ящик совсем только после выезда князя Воронцова из Тифлиса в начале 1854 года.

Частыми разъездами по всем направлениям обширного Кавказа новый наместник знакомился с местными условиями и нуждами, давал населению возможность лично заявлять свои желания и жалобы, тут же делались соответствующие распоряжения, оказывались вспомоществования, поощрялись полезные предприятия, учреждались школы, благотворительные заве-

дения – одним словом, делалось много полезного; многое не удалось, но многое осталось до сих пор, пустило уже прочные корни, напоминающие о благотворном результате этих неутомимых разъездов графа и его супруги, весьма часто его сопровождавшей. Конечно, не обошлось без промахов, без неудовольствий и прочего, но все это не могло устоять на весах против неопровержимо очевидной великой пользы, принесенной всему Кавказу управлением графа Воронцова. Трудно без соответствующих данных под рукой исчислить хотя бы все более выдающееся факты всеобщего преуспеяния, достигнутого краем в эти несколько лет. Тифлис обратился в один из лучших городов России только благодаря заботливости и инициативе графа: улучшены пути сообщения, явилось пароходство в низовьях Куры и на озере Гокча, заведены женские учебные заведения и много благотворительных учреждений, поддерживались и развивались все виды промышленности, и если многое стоило только напрасных затрат казне и самому князю, то единственно по недостатку способных и честных людей и по общему невежеству, с которым так трудно бороться. Вообще, в крае всему дан был толчок вперед, к лучшему. В стране, которая дотоле не знала почти значения гражданской деятельности (если не считать таковой бюрократические подвиги на канцелярском поле), закипела жизнь, дремавшие силы были вызваны наружу; всякий почувствовал потребность если не делать, то хотя заявить о чем-нибудь полезном; и так как граф был чрезвычайно любезен и внимателен, то предположения и проекты посыпались со всех сторон. Как всегда бывает в таких случаях, многое оказывалось дельным, удобоприменимым, иное давало хороший материал или полезные указания, еще более оказывалось нелепостей, абсурдов, о которых долго ходили рассказы, могущие показаться анекдотами. Например, рассказывали об одном забавном проекте, исходившем будто бы от генерала князя Ч., предлагавшем для обеспечения Лезгинской линии от набегов горцев, особенно на протяжении Кахетии, обречь все горы так, чтобы невозможно было спускаться по ним... Другой проект, имевший автором чуть ли не какого-то учителя французского языка в гимназии, предлагал послать к Шамилю мирную депутацию и с ней труппу вольтижеров, всякого рода фокусников, пиротехников и т. п., имевших удивить и прельстить грозного имама, убедив, что борьба с народом, у которого водятся такие чудодеи, невозможна. Деятельность графа Воронцова была просто изумительна. От восьми часов утра до четырех пополудни он не оставлял кабинета, работая постоянно, то выслушивая доклады, давая решения, то диктуя своим кабинетным секретарям. Невзирая на свои почти семьдесят лет, он первые годы лично принимал участие в военных действиях, причем в 1845 году в Даргинскую экспедицию и в 1847 году при осаде Гергебиля и Салты ему пришлось перенести немало трудов и лишений лагерной жизни. Он не ленился непрерывно объезжать обширный край по скверным, большей частью небезопасным дорогам и нередко верхом, затем уделять еще времени на разные приемы и удовольствия ради сближения общества. Его супруга тоже немало и серьезно занималась по делам женских учебных и благотворительных заведений, пожертвовав на это не одну сотню тысяч рублей.

Обращаясь затем к последующей за Даргинским походом военной деятельности графа как главнокомандующего Кавказской армией, должно сказать, что как ни печален был исход первой его экспедиции и как ни бесплодны были еще после того попытки борьбы с Шамилем посредством овладения его укреплениями в Дагестане (Гергебиль, Салты, Чох), стоившие нам огромных жертв, без всякой почти пользы, однако никто не станет оспаривать у графа заслуги введения, наконец, той системы военных действий, которая послужила исходной точкой в покорении Кавказа и прекращении шестидесятилетней борьбы, лежавшей тяжелым бременем на России. Современное сознание ошибок повело к пользе – жертвы, по крайней мере, окупались. Самый быт наших войск при графе Воронцове улучшился, их положение, бывшее до того вследствие скудости средств и многих злоупотреблений крайне тягостным, сделалось обеспеченнее и давало им возможность выносить те чрезмерные тягости и лишения, на которые эти достойные люди были обречены. Одним словом, в истории Кавказа страницы, заклю-

чающие очерк наместничества графа Воронцова, будут одними из блистательных, и поставленный ему в Тифлисе памятник есть вполне заслуженная дань уважения и благодарности. *Alles hat seine Schattenseite*, говорят немцы, и потому, читая напыщенные панегирики хотя бы и величайшим государственным людям и историческим деятелям, невольно является подозрение в пристрастии; совершенства нет: от Александра Македонского, Юлия Цезаря до Петра Великого, Наполеона или Фридриха никто не свободен от многих недостатков, становящихся особенно видимыми потомству. Дело только в том, что перетягивает на весах: недостатки, пороки или гениальные, обильные великими последствиями дела и подвиги.

VIII.

С 1846 года по желанию графа Воронцова стала издаваться в Тифлисе местная газета «Кавказ» под редакцией способного и вообще отличного чиновника Константинова. Все казенные учреждения и должностные лица обязаны были ее выписывать, на что, впрочем, тогда никто не роптал, потому что первые несколько лет газета, невзирая на свои скромные средства и чисто местную рамку, издавалась очень хорошо, заключала много интересного и при всеобщей бедности в книгах читалась с удовольствием. Несколько прочитанных мной номеров «Кавказа», в которых были помещены рассказы о некоторых военных действиях, поездках по краю и т. п., дали мне мысль попытать и себя на литературном поприще... Я описал наше движение в июне 1845 года в горы для прикрытия тушинских караванов и стычку с неприятельской партией и послал это ученическое произведение к редактору при весьма робком письме, с большим волнением ожидая, какую судьбу испытает моя первая попытка. Через некоторое время, к великому моему удовольствию, получился номер газеты с моей статьей, подписанной полным именем *автора*... В те времена мне увидеть свое имя первый раз в печати – да, это был восторг, которому мог равняться разве восторг, испытываемый только что произведенным прапорщиком, когда он в первый раз вышел на улицу в эполетах и преважно принимает выделяемые перед ним часовым «на караул»...

Ободренный таким началом, я после снабжал довольно часто редакцию «Кавказа» статьями о разных поездках по горам, о народных праздниках и других особенно оригинальных чертах народных обычаев у горцев и т. п., а впоследствии и военно-историческими очерками по материалам архива главного штаба, в который мне был разрешен свободный доступ. Впоследствии я перешел к печатанию статей в «Современнике» и «Русском вестнике» 1850–1860-х годов. Понятно, что упоминаю об этом без всякого желания порисоваться званием литератора или писателя, до которого несколькими журнальными и газетными статьями и трудно добраться, а просто как об одном из эпизодов моей полной приключениями жизни, бывшем отчасти поводом к некоторой известности в высшей служебной сфере Кавказа, что, в свою очередь, служило не раз причиной некоторого исключительного ко мне внимания, поручения мне более видных должностей и вообще облегчало мне, человеку без связей и протекций, трудный служебный путь. Особенно много обязан я был этому обстоятельству впоследствии, в военной службе, где, признаться, количество порядочно грамотных людей ограничивалось некоторым числом офицеров Генерального штаба и весьма редкими исключениями между обыкновенными, не принадлежащими к этому привилегированному классу офицерами. Из дальнейшего рассказа видно будет, какую роль это *quasi-авторство*, а еще более знание туземных языков играло в моей судьбе.

В начале 1846 года князь Челокаев поехал в Тифлис, взяв и меня с собой. Это было время совершенно новой жизни для Тифлиса, особенно для грузинских князей. Представьте себе большой барский дом, из которого господ давно выехали: тишина, отсутствие всякого движения, только изредка лениво пройдет кто-нибудь из оставшейся дворни. Вдруг господ возвратились, появилась куча народу, наехали со всех сторон гости, шумные обеды сменяются весе-

лыми балами, гремит музыка, везде кипит беззаботная жизнь, прежняя тишина уступила место шумной суете, картина резко изменилась. То же было с Тифлисом. Уныло монотонный вид города при Нейдгарте вдруг превратился в какой-то шумный, праздничный; у всех стала как-то живее кровь обращаться. Дворец наместника с беспрестанным приливом и отливом экипажей сделался центром, около которого все вращалось – кто непосредственно, кто окольными путями. Появились театр, цирк, новые кондитерская и магазины, пошли новые постройки, громадный пустырь Эриванской площади украшался великолепным зданием театра, гостиного двора; вечера, балы и всякие пиршества в подражание наместнику стали даваться и прочей служебной знатью; местные князья, полные блистательных надежд впереди, развернулись по-своему, и обеды без Ага-Сатара (известный персидский певец) стали уже редкостью. А поелику в мире сем закон отражения сверху вниз неизбежен, то шумный образ жизни и вообще какое-то безотчетно веселое расположение духа сказалось почти на всем народонаселении. Не мудрено после этого, что город изо дня в день представлялся в каком-то праздничном, ликующем виде.

Моему начальнику Челокаеву при содействии родных не стоило большого труда попасть в число отличаемых графом людей, тем более что кроме своего древнего княжеского имени он занимал пост в глазах начальства немаловажный и был притом человек с природным умом и весьма ловкий.

В это время было в самом разгаре дело об утонувшем в 1844 году в Иорской канаве почтовом чемодане с 48 тысячами рублей, в похищении которого сильно подозревались князь Андроников и местные полицейские чиновники. Господа эти были арестованы, народная молва решительно указывала на них, однако по следствию никаких доказательств виновности не оказывалось. Граф приказал составить особую следственную комиссию под председательством Челокаева из членов: чиновника особых поручений В. П. Александровского, жандармского майора Иерусалимского и адъютанта князя Бебутова, капитана Лорис-Меликова (впоследствии тифлисский полицеймейстер). Челокаев с восторгом принял данное ему поручение как знак особого внимания, выказал полную уверенность в успешном раскрытии истины и убеждение в виновности Андроникова, которому по каким-то личным отношениям рад был насолить...

Поехали мы на место происшествия в село Цицматияны, прожили, кажется, недели две, прибегали к хитростям, угрозам и арестам, для пущего страха вытребовали даже целую сотню донских казаков, исписали показаниями окрестных татар целые кипы бумаги, однако дела ничуть не подвинули, подозрений на Андроникова и полицию ничем не подкрепили, виновных не оказывалось, чемодан «канул в воду»...

Возвратились мы в Тифлис. Как и что принес в оправдание безуспешности следствия Челокаев, не помню, но внимание к нему не охладело. Вслед за тем мы возвратились в Тионеты.

В июне месяце того же 1846 года мы были чрезвычайно обрадованы официальным известием, что наместник на обратном пути из Владикавказа в Тифлис желает свернуть в сторону и из Ананура проехать через Тионеты в Кахетию. Для этого ведущая здесь по лесистым горам хребта, отделяющего Арагву от Иоры, едва годная для верхового сообщения дорога была нами наскоро исправлена, собран почетный конвой из отборных людей всех племен округа, сделаны все нужные распоряжения, и 15 июля мы отправились в Ананур, куда 16-го должен был прибыть граф, но маршрут почему-то изменился, приезд был отсрочен на сутки. Между тем князь Челокаев вспомнил еще о некоторых необходимых распоряжениях к приему высокого гостя и отправил меня для этого назад в Тионеты.

17 числа часу в третьем пополудни наконец показался поезд. Верстах в двух от деревни встретили графа почетные старшины всех обществ с хлебом-солью, а один из тушин произнес по-грузински приветствие, над сочинением которого Челокаев, отчасти и я, хлопотал несколько дней. Вот буквальный перевод: «*Гамарджоба шена* (победа тебе), наместник царский! Мы, тушины, пшавы и хевсурь, издревле привыкли быть верными подданными наших царей. Милости великого государя к нам неисчислимы. Теперь считаем себя еще более счаст-

ливыми и гордимся, видя тебя, его представителя, на нашей родине. За все это у нас нет приличного дара; в жертву государю приносим самих себя, прольем кровь, где ты укажешь, и острые сабли наши, давно привыкшие разить врагов, иступим об их черепы!». Переводчик тут же передал содержание этой речи, и граф остался очень доволен. В деревне я встретил наместника у ворот нашей старой крепости и был ему представлен князем Челокаевым, сказавшим при этом несколько весьма лестных для меня слов об изучении мной грузинского языка и прочем. Граф подал мне руку, выразил удовольствие, что о единственном русском человеке в округе так хорошо отзываются, и вообще обласкал меня тем, ему одному свойственным обхождением, которое покоряло ему почти всех, имевших случай делаться лично ему известными. Понятно, что я был в восторге.

Во дворе крепости был устроен балаган из зеленых ветвей, и в нем приготовлен обильный завтрак, главным украшением коего были редкой величины форели, поднесенные живыми графу местными рыболовами, и батарея бутылок отборнейшего кахетинского вина. Сам граф в эту пору ничего не кушал (он обыкновенно обедал в шесть часов вечера), но свита его оказала и форелям, и шашлыкам из бесподобных тушинских барашков, и кахетинскому свое полное внимание. Между тем граф через меня разговаривал с жителями, расспрашивал об их совместных произведениях, о сбыте их и прочем. Один из тионетских жителей заявил весьма дельно, что их долина весьма благодатна, хлеб родится прекрасно, сена много, лесу тоже, но они так замкнуты кругом горами, что никуда почти не имеют свободного сообщения, и сбыта всем их произведениям нет. Наместник сейчас обратил внимание на это заявление, обещал сделать нужные распоряжения, расспросил подробно Челокаева о направлении дороги к Тифлису, о ее протяжении, о возможности разработать ее для повозочного сообщения, проверил тут же все на карте и приказал к его возвращению в Тифлис доставить ему подробное предположение по этому предмету.

Часов около пяти выехал граф из Тионет на ночлег в Ахметы, а на другой день утром за завтраком ему представлялись все тамошние князья Челокаевы и почетные жители, также жена хозяина дома, в котором был ночлег, княгиня Нина Челокаева, весьма красивая женщина, получившая тут же богатый подарок – кажется, великолепную бриллиантовую брошку (с князем всегда разъезжал чиновник особых поручений В. П. Александровский в качестве походного казначея, у которого был постоянно большой запас так называемых «экстраординарных вещей», часов, перстней и т. п. для подарков). Князья были очарованы ласковым обхождением графа, его разговором о близком им предмете – виноделии, в котором он знал толк как владелец известных виноградников в Крыму.

В Ахметы были присланы из Телава несколько экипажей, так что граф и его свита с большим удовольствием расстались с верховыми лошадьми, и часов в десять мы верхами у экипажей отправились дальше через Алванское поле в село Енисели (верст 60–70), близ которого был расположен лагерь отряд, разрабатывавший дорогу на гору Кодор, на вершине которой строилось укрепление, составлявшее на Кавказе высшую обитаемую точку. На другой день, невзирая на вдруг наступившую отвратительную погоду и проливной дождь, граф опять пересел на лошадь и по мерзейшей дороге отправился на Кодор. За отсутствием генерала Шварца в отпуск Лезгинской линией заведовал какой-то неизвестный до того на Кавказе генерал-майор Горский, как говорили, из весьма ученых офицеров Генерального штаба. Не знаю, насколько был он ученый, но что он был весьма забавен, это видели все, начиная с самого главнокомандующего, который своей стереотипной улыбке придавал в этот раз особый, едва заметный оттенок. Маленький, толстенький, верхом на большой лошади, с коротенькими ножками, едва достававшими до стремян, и при обыкновенном военном сюртуке, в меховой остроконечной персидской папахе, генерал изображал фигуру уморительную. Нагнувшись при подъеме на гору чуть не до лошадиной головы, обливаемый дождем, он все ехал рядом с графом, что-то ему докладывая, и представлял нечто до того комическое, что все помирили со

смеху. Особенно, помню, забавлял он тогдашнего директора походной канцелярии наместника М. П. Щербинина (ныне первоприсутствующего сенатора), ехавшего все время рядом со мной и расспрашивавшего меня о подробностях образа жизни горцев, их обычаях и т. п., что его весьма интересовало.

Достигнув вершины Кодора, более 8000 футов, граф осмотрел бывшие там войска и работы по устройству укрепления при неперестававшем сильнейшем ливне и едва проницаемом тумане. От этого укрепления ожидали, кажется, весьма большой пользы в смысле обеспечения Кахетии от вторжения горских шаек, которые могут-де быть преследуемы и отрезываемы гарнизоном. Некоторые из опытных туземцев, бывших в числе почетного конвоя, тут же мне высказывали свое мнение, что строящееся укрепление – напрасная трата денег, напрасное изнурение солдат, что зимой оно будет заносимо такой массой снега, который по месяцам прекратит с ним сообщение, и гарнизон будет, как в тюрьме, без всякой возможности выйти, а летом здесь большей частью такие дожди и туманы, что просто опасно удаляться, чтобы не попасть под обрыв. Шайки же привычных горцев найдут себе много тропинок в обход укрепления, и гарнизон никогда вовремя не узнает ни о проходе их, ни о взятом ими направлении. Однако нам не приходилось мешаться не в свое дело, и разговоры эти, переданные мной, впрочем, и Челокаеву, остались без последствий. А между тем справедливость этого мнения вскоре вполне подтвердилась, и, кажется, через год или полтора должны были бросить укрепление на Кодоре, в котором за это время немало настрадались люди, гибнувшие от цинги и вообще отратительного существования.

На ночлег возвратились в село Енисели, где за поздним обедом граф Михаил Семенович, невзирая на такой утомительно проведенный на коне день, был в отличном расположении духа и рассказывал несколько эпизодов из своих походов в Наполеоновские войны. Все слушали с большим и вовсе не поддельным вниманием, потому что такого рассказчика, умеющего в простой форме живо изобразить интересные военные сцены, я больше никогда не встречал. Граф после обеда объявил, что на другое утро в девять часов намерен выехать дальше в Кварели, а там, переправившись через Алазань, – в Сигнах и Тифлис; здесь же желает попрощаться со всеми провожающими его из Тионет.

Когда мы разошлись после этого обеда, Челокаев вздумал воспользоваться удобной минутой и похлопотать о моей награде, за выше рассказанную мной стычку с горцами в 1845 году, ибо представленные тогда тушины все давно уже получили кресты и медали, а обо мне ничего не получалось, и приходилось предположить, что или в Тифлисе, или в Петербурге представлению не дано было никакого хода. Мы вместе пошли к бывшему с графом в качестве начальника штаба свитскому генерал-майору Николаю Ивановичу Вольфу, доложили ему об этом обстоятельстве; он весьма любезно выслушал объяснение Челокаева, обещал все свое содействие и просил в тот же вечер еще доставить ему короткую записку об этом. Понятно, что я поспешил исполнить это требование и через час уже доставил записку генералу Вольфу, который задержал меня у себя долго, стал расспрашивать о направлении в округе хребтов, рек, названиях главных гор, ущелий и прочем, сверяя все тут же с подробной картой, оказывавшейся во многом неверной, особенно с большими ошибками в названиях; он ее исправлял, делал заметки и, поблагодарив меня, выразил удовольствие знакомству со мной, приглашая навестить его в Тифлисе. Такие почеты, оказываемые мелкому канцелярскому чиновнику, юноше двадцати одного года, просто кружили мне голову, и я от особенного волнения, усиленного мыслью о предстоявшей мне на другое утро награде, решительно всю ночь уснуть не мог.

Наконец настало утро памятного мне 20 июля 1846 года. Около девяти часов главнокомандующий вышел из своей комнаты на большую деревянную галерею, окружавшую дом, где толпились вся свита и множество разных князей, почетных жителей, чиновников из Телава, военных из лагеря, приветствовал всех весьма любезно и затем с генералом Вольфом подо-

шел ко мне: «Мне очень приятно, любезный З., слышать о тебе (граф говорил «ты» молодым людям, которым хотел выразить свое расположение, и оскорбляться этим не только никому не приходило в голову, а напротив, это выходило у него как-то особенно дружески, приветливо) такие лестные со всех сторон отзывы; если бы большинство наших чиновников и офицеров по твоему примеру изучали языки и обычаи страны, то это очень облегчило бы нам всю задачу; к тому же ты еще такой лихой наездник и храбрый воин, что я с особенным удовольствием исполняю просьбу твоего начальника и награждаю тебя Георгиевским крестом, вполне тобой заслуженным». Взяв от генерала Вольфа крест с ленточкой, граф прицепил мне его к груди булавкой, пожал руку и отошел к другим. С этого дня прошло почти тридцать три года, но впечатление его живо сохранилось в моей памяти: вся обстановка, от великолепного солнечного утра до громадных ореховых деревьев, оттенявших сцену, от этой разнородной толпы представителей воинственных племен Кавказа до величественной фигуры графа Михаила Семеновича Воронцова в его любимом егерском длинном сюртуке с генерал-адъютантскими вензелями Александра I, какая-то торжественная тишина, внимавшая словам его, обращенным ко мне, – все это как бы до сих пор пред моими глазами... Что я в ту минуту чувствовал, как у меня захватило дух, и я не мог произнести ни одного слова в ответ, выразить довольно трудно, но всякому легко себе представить...

Проскакав близ экипажа графа, джигитуя и стреляя еще несколько верст за деревню, мы, наконец, откланялись, наши горцы крикнули ему громкое «ура!» и потянулись обратно домой. По прибытии в Матаны мы застали довольно много полученных в наше отсутствие пакетов и между прочим уведомление начальства Лезгинской линии, что по представлению об оказанном мной в деле с горцами 8 июня 1845 года отличии я всемилоостивейше произведен в коллежские регистраторы... Мечты об эполетах разлетелись прахом: награда оказалась собственно далеко не наградой, потому что чин следовал мне уже давно, просто за выслугу лет, и я утешился в этой неудаче только что навешенным мне Георгием, ставшим мне еще дороже, и как редкое исключение для гражданского чиновника, и как память такой торжественной минуты в моей жизни... И какое счастье, что это печальное уведомление о чине получилось несколькими днями позже, а то не видать бы мне креста, ибо по закону им могут быть награждаемы только лица, не имеющие чинов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.